

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

АРАКЧЕЕВ

Николай Гейнце
Аракчеев

«Public Domain»

1893

Гейнце Н. Э.

Аракчеев / Н. Э. Гейнце — «Public Domain», 1893

«Аракчеевы ведут свой дворянский род от новгородца Ивана Степанова Аракчеева, которому за службу предков, отца и самого его в 1684 году были пожалованы вотчины в тогдашнем Новгородском уезде, в Бежецкой пятине, в Никольском погосте...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	11
IV	14
V	16
VI	18
VII	20
VIII	23
IX	25
X	27
XI	29
XII	32
XIII	35
XIV	39
XV	42
XVI	44
XVII	46
XVIII	48
XIX	51
XX	53
XXI	57
XXII	60
XXIII	64
XXIV	66
XXV	69
XXVI	71
XXVII	73
XXVIII	76
XXIX	78
XXX	80
XXXI	83
XXXII	86
XXXIII	89
Часть вторая	92
I	92
II	95
III	98
IV	101
V	104
VI	107
VII	110
VIII	112
IX	114
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Николай Эдуардович Гейнце Аракчеев

Часть первая Неравный брак

I Детство

Аракчеевы ведут свой дворянский род от новгородца Ивана Степанова Аракчеева, которому за службу предков, отца и самого его в 1684 году были пожалованы вотчины в тогдашнем Новгородском уезде, в Бежецкой пятине, в Никольском погосте.

Прадед графа Аракчеева, Степан, умер капитаном, служа в армейских полках; дед, Андрей, был убит в турецком походе Миниха, армейским поручиком, а отец его, тоже Андрей, служил в гвардии, в Преображенском полку, и воспользовавшись милостивым манифестом 18 февраля 1762 года, по которому на волю дворян представлялось служить или не служить, вышел в отставку в чине поручика и удалился в свое небольшое поместье в 20 душ крестьян, которые при разделах пришлось в его долю из жалованного предку наследия, в тогдашнем Вышневолоцком уезде Тверской губернии.

Алексей Андреевич Аракчеев родился 23 сентября 1769 года, следовательно, в момент нашего рассказа ему шел сорок шестой год.

Отставной поручик Андрей Андреевич Аракчеев отдыхал в деревне если не на лаврах, то на пуховиках, в хозяйство не вмешивался, любил глядеть из окна на те мало разнообразные сцены, которые может представлять двор бедной помещицкой усадьбы. У него было три сына: Алексей, Петр и Андрей. Алексея, как первенца, любил он с особенною нежностью, пытался даже заняться его образованием, то есть выучить его грамоте, но этот труд показался ему обременительным, и он возложил его на деревенского дьячка.

Если личность Андрея Андреевича так ложится под тип необъятного числа русских дворян старого времени, постепенно исчезающий на наших глазах, то личность жены его, Елизаветы Андреевны, была более замечательна.

В жизни графа Аракчеева много найдем мы следов первых впечатлений, первого взгляда на жизнь, которое получают дети в родительском доме. В нашем старом русском помещицком быту можно было много встретить барынь богомольных и заботливых хозяек, но Елизавета Андреевна отличалась, особенно в то время, необыкновенною аккуратностью и педантичной чистотою, в которых она содержала свое хозяйство, так что один проезжий, побывав у нее в доме, назвал ее голландкою.

При маленьких средствах в доме нужда не стучалась в двери. Денег было мало; но тогда мелкопоместные наши дворяне не много о них и заботились: домашнее хозяйство давало почти все средства к жизни. Копили копейку разве только для посылки служащим сыновьям в армию и для пополнения и освежения из рода в род переходившего приданого для дочек. При маленьких детях и не имея дочерей Елизавета Андреевна и этой заботы не имела. Сердца милосердного, она, однако, в строгом повиновении держала домочадцев; опрятность, с которою она содержала детей, прислугу, дом, — бросалась всем в глаза. С неутомимою деятельностью следила она за всеми отраслями сельского хозяйства, и когда в день Андрея съезжались соседи, то у Андрея Андреевича пир и угощение были как у помещика,

который имел за полсотню душ крестьян, и в доме все было прилично – слово, любимое Елизаветой Андреевной, которое перешло и к ее сыну.

Мать учила сына молитвам, всегда водила его с собою в церковь, не пропускала ни обедни, ни вечерни и постоянно внушала ему бережливость одежды и обуви. Только отец, глава семейства, не подчинялся общему настроению всего домашнего быта – обращаться в постоянной деятельности, выражаясь словами самого графа Аракчеева.

При этих условиях мальчик, быть может, по природе несколько серьезный, был чужд резвости и из домашнего воспитания вынес: набожность, привычку к постоянному труду, сноровку требовать его от людей, ему подчиненных, и неутомимое стремление к порядку. Дальнейшая обстановка его жизненного поприща не давала заглухнуть этим первым началам: развились они корпусным воспитанием и первоначальной службою.

За годовой платеж трех четвертей ржи и столько же овса дьячок учил его читать, писать и четырем правилам арифметики.

Аракчеевы имели родственника в Москве, который вызвался определить Алексея в гражданскую службу, поместить, когда он кончит учение, в какую-то канцелярию.

– Из меня хотели сделать подьячего, то есть доставить мне средства снискивать пропитание пером и крючками, – говаривал впоследствии граф Аракчеев, – не имел я понятия ни о какой службе, а потому отцу и не прекословил.

Граф вообще любил вспоминать годы своего детства. Малые успехи Алексея в каллиграфии смущали отца.

– Какой же он будет канцелярский чиновник, когда пишет, точно бредут мухи, – говорил он учителю-дьячку.

Тот молчал, так как писал сам не лучше своего ученика.

Отец придумал новое средство: отобрал из связки сохраняемых им служебных бумаг те, которые отличались почерком, и заставлял сына их переписывать. Этим он добился некоторых успехов.

Арифметика была коньком Алексея: учитель не мог уже следить за учеником. Он сам себе задавал такие большие числа для умножения, которых дьячок и выговорить не умел. Не умел их выговорить и ученик, но это не мешало ему все же их множить и тешиться, когда проверкою деления искомые были получены верно. Это было его любимое препровождение времени.

Между тем, мальчику минуло десять лет. Отец чаще стал поговаривать об отсылке сына в Москву, но в это время случайное событие переменяло все предположения.

В соседстве с Аракчеевым жил помещик 30-ти душ, отставной прапорщик Гаврило Иванович Корсаков, к которому, около 1780 года, приехали два его сына: Никифор и Андрей, бывшие кадетами в артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Андрей Андреевич поехал к ним в гости и взял сына с собою.

Знакомство с кадетами поразило мальчика, особенно понравились ему их красные мундиры. В них они показались ему какими-то особыми, высшими существами – он не отходил от них ни на шаг.

Возвратясь домой, он все вспоминал о кадетах. Они чудились ему день и ночь. Мальчик был как в лихорадке.

Прошло несколько дней.

Однажды, после обеда, Алеша не выдержал и бросился отцу в ноги.

– Отдай меня в кадеты, или я умру с горя, – заговорил он, между тем как рыдания душили его.

Добрый отец поднял его.

– Чего плачешь, дурашка, я не прочь исполнить твое желание, но как добраться до Петербурга без денег и как определить тебя там, не имея покровителей – вот в чем дело.

Мальчик продолжал рыдать и стоял на своем. Вошла мать.

– Вот, плачет, ревом ревет, в кадеты просится, – указал ей отец на плачущего сына.

– С Богом! – отвечала Елизавета Андреевна. – Коли на то Божья воля, ступай в кадеты...

– Перестань, перестань, уже я похлопочу, вместе с тобой поеду, – продолжал утешать сына отец.

– Когда? – сквозь слезы промолвил он.

– Когда? – вступилась мать. – Обещанного три года ждут, ишь какой прыткий, годок, другой обождешь, а то так я тебя, малыша, в Петербург к чужим людям и отдам.

Может быть, Елизавета Андреевна так быстро и согласилась, чтобы воспользоваться этим случаем и отдалить время разлуки с сыном. В Москву он должен был ехать к родным и прекословить его отправке она не имела оснований.

Два года еще Алексей пробыл дома.

В мальчике, впрочем, за это время не изгладилось впечатление, произведенное на него Корсаковыми: он крепко стоял на своем и все мечтал о кадетах.

II В Петербурге

Наконец, в январе 1783 года начались решительные сборы, повезли из амбара хлеб на базар, продали две коровы. Запаслись деньгами и на проезд, и чтобы, в случае надобности, внести в корпус положенные для своекоштных около ста рублей.

С нетерпеливым весельем смотрел Алексей на все приготовления, на печения пирогов, не понимая, отчего мать его проливает слезы; взгрустнулось ему лишь тогда, когда подвезли кибитку и стали укладываться.

Пришел священник, отслужил молебен, потом молча посидели и стали прощаться с матерью.

Она, рыдая, благословила сына образком, который надела ему на шею.

– Молись, надейся на Бога – вот мой завет тебе, – сказала она, обливая слезами склоненную перед ней голову Алеши.

Глубоко в душу мальчика запали эти слова.

Со слугою, отправились они в столицу, остановились на Ямской, на постоялом дворе, наняли угол за перегородкой, отыскивали писца, солдата архангелогородского, пехотного полка Мохова, который на гербовом двухкопеечном листе написал просьбу, и, отслужив молебен, отправились в корпус, на Петербургскую сторону.

Молчалив и задумчив был Андрей Андреевич во весь длинный путь, коротко, против обыкновения, отвечая на вопросы сына о проезжаемых зданиях. Было еще рано, довольно пусто на улицах, но город поразил Алексея своим многолюдством – все его занимало, веселило, его детская голова не понимала отцовских мыслей.

Наконец, они доехали до корпуса и отыскивали канцелярию.

Их встретил какой-то писарь довольно приветливо, рекомендовал писца, но, узнав, что просьба уже написана, нахмурился и сказал, что уже поздно и чтобы они пришли на другой день пораньше.

Аракчеевы приехали в самое неблагоприятное время. Командир корпуса генерал Мордвинов умер 5 октября 1782 года; временно заведовал корпусом генерал Мелиссино, который был утвержден директором только 22 февраля 1783 года. Императрица поручила ему, ознакомься с корпусом, сделать соображение к совершенному преобразованию этого заведения, согласно общих предположений для воспитания юношества целой империи.

Горькие дни испытал Аракчеев при первых своих столкновениях со служебным миром. Десять дней кряду ходил он с отцом в корпус, пока они добились, что 28 января просьба была принята, но до назначения нового начальника не могла быть положена резолюция. Наконец, вышло это желаемое назначение, но оно не много их подвинуло. Почти каждый день являлись они на лестнице Петра Ивановича Мелиссино, чтобы безмолвно ему поклониться и не дать забыть о себе.

Прошло более полугода пребывания их в Петербурге и в это время другая настоятельная беда собиралась над ними. Деньги таяли, для уменьшения расходов ели только раз в день; наконец, были издержаны и последние копейки, а настойчивое их появление в передней Мелиссино оставалось безуспешным.

Они принялись продавать зимнее платье.

В это время услыхали они, что митрополит Гавриил раздает помощь бедным. Крайность принудила обратиться к милостыне. Они отправились в Лавру, где было много бедных. Доложили преосвященному, что дворянин желает его видеть; он, выслушав о несчастном их положении, отправил к казначею, где им был выдан рубль серебром.

Когда они вышли на улицу, Андрей Андреевич поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал.

Сын также плакал, глядя на отца.

На этот рубль втроем со служителем они прожили еще десять дней.

Наконец, 19 июля 1983 года они, по обыкновению, стояли на директорской лестнице и ждали выхода Мелиссино. В этот день отчаяние придало бодрости мальчику.

Со слезами на глазах подошел он к вышедшему вельможе и упал на колени.

– Ваше превосходительство, – сказал он, – примите меня в кадеты... Нам придется умереть с голоду... Мы ждать более не можем... Вечно буду вам благодарен и буду за вас Богу молиться...

Рыдания мальчика, слезы на глазах отца остановили на этот раз директора.

– Как фамилия?

– Аракчеев.

Мелиссино вернулся в свои покои и вынес записку для отдачи в канцелярию, объявив им, что просьба исполнена.

Алексей Аракчеев кинулся было целовать его руки, но вельможа сел в карету и уехал.

По выходе из корпуса они завернули в первую попавшуюся церковь. Не на что было поставить свечу. Они благодарили Бога земными поклонами.

На другой день, 20 июля, Алексей Аракчеев поступил в корпус, а отец его, встретившись с одним московским родственником, давшим ему денег на дорогу, «поручив сына под покровительство Казанской Богородицы», уехал в деревню.

В корпусе Аракчеев заслужил репутацию отличного кадета. Умный и способный по природе, он смотрел на Мелиссино как на избавителя и изо всех сил бился угодить ему. Мальчик без родных и знакомых в Петербурге, без покровителей и без денег испытывал безотрадную долю одинокого новичка. Учиться и беспрекословно исполнять волю начальников было ему утешением, и это же дало средство выйти из кадетского мира в люди.

По окончании курса он был сперва учителем математики в том же шляхетском корпусе, но вскоре по вызову великого князя Павла Петровича, в числе лучших офицеров, был отправлен на службу в гатчинскую артиллерию, где Алексеем Андреевичем и сделан был первый шаг к быстрому возвышению. Вот как рассказывают об этом, и, надо сказать, не без злорадства, современники будущего графа, либералы конца восемнадцатого века – водились они и тогда.

Один раз великий князь Павел Петрович назначил смотр гатчинским войскам в первом часу дня. Войска собрались в назначенное время, но великий князь, занятый другими делами, совершенно забыл про смотр. Войска, прождав часа два, разошлись; на площади остался один Аракчеев со своей батареей. Великий князь, проходя к обеду, увидел в окно на площади артиллерию и позвал к себе офицера. Явился Аракчеев, отрапортовал великому князю о своем усердии, и с тех пор стал пользоваться полною доверенностью Павла Петровича во всю его жизнь.

Как бы то ни было, но служебная карьера Алексея Андреевича при императоре Павле шла поразительно быстро. Сперва он был комендантом дворца. Для этого он, казалось, был создан – спал не раздеваясь, всегда готовый явиться по первому зову императора. В день коронации 5 апреля 1797 года, совпавшим с первым днем Пасхи, он был возведен в баронское достоинство и сделан александровским кавалером. К поднесенному на Высочайшее утверждение баронскому гербу Павел собственноручно прибавил девиз: «Без лести предан». Через две недели Аракчеев был назначен генерал-квартирмейстером всей армии; но, не увлекаясь своим положением, он ни с кем не сближался, пренебрегая связями среди двора и свиты императора, держал себя крайне самостоятельно. Это более, чем что-либо, возбуж-

дало зависть не только сверстников, но и старших, видевших в двадцативосьмилетнем генерале себе соперника. Вскоре затем он был возведен в графское достоинство.

В начале царствования Александра I, Аракчеев не занимал никакого особенно важного поста и, оставаясь начальником всей артиллерии, не имел еще тогда видимого влияния на политические и внутренние дела государства, но вскоре новый император также приблизил его к себе, назначил на пост военного министра, который Аракчеев занимал, однако, недолго и, отказавшись сам, был назначен генерал-инспектором всей пехоты. Начиная же с 1815 года, то есть именно с того времени, которое мы избираем за исходный пункт нашего правдивого повествования, он стоял на высоте своего могущества – был правою рукою императора и рассматривал вместе с ним все важнейшие дела государственного управления, не исключая и дел духовных.

– Меня отличили, вызвали из ничтожества! – говаривал граф Аракчеев и был совершенно прав, как видим мы из вышеприведенного краткого очерка детства и юности этого замечательного русского государственного деятеля, за который читатель, надеюсь, не посетует на автора.

Часто без знания мелочей детства и воспитания являются загадочными великие характеры.

III

На литейной

Серый, одноэтажный дом, на углу Литейной и Кирочной, стоящий в его прежнем виде и донине, во время царствования императора Александра Павловича служил резиденцией «железного графа», как называли современники Алексея Андреевича Аракчеева.

Дом этот был в то время так же известен в Петербурге, как и Зимний дворец.

На исходе первого часа 11 января 1815 года в открытые настежь ворота этого дома быстро вкатили широкие сани и остановились у подъезда.

Грузно вышел из них граф Алексей Андреевич Аракчеев, вернувшийся из дворца, куда ездил с обычным утренним докладом.

Парадные двери распахнулись перед ним как бы по волшебству. Он быстро вошел в переднюю, сбросил на руки нескольких встретивших его лакеев шинель и, сунув одному из них шляпу, так же быстро миновал ряд комнат и вошел в свой кабинет.

Это была обширная комната, казавшаяся мрачной и неприветной. У окон и кое-где вдоль стен стояла плетеная неуклюжая мебель; большой письменный стол был завален грудою бумаг. Недостаточность меблировки делала то, что комната казалась пустою и имела нежилой вид.

Впрочем, граф и на самом деле бывал в своем доме лишь наездом, живя за последнее время постоянно в Грузине, имении, лежавшем на берегу Волхова, в Новгородской губернии, подаренном ему вместе с 2500 душ крестьян императором Павлом и принадлежавшем прежде князю Меншикову. Даже в свои приезды в Петербург он иногда останавливался не в своем доме, а в Зимнем дворце, где ему было всегда готово помещение.

Граф не любил своего дома на Литейной, он навевал на него тяжелые воспоминания. В настоящий приезд его в Петербург картины прошлого проносились перед его духовным взором с особенною рельефностью.

Причиною этому была досужая светская сплетня петербургских кумушек, сопоставлявшая имя жены царского фаворита графини Наталии Федоровны Аракчеевой с полковником гвардии Николаем Павловичем Зарудиным, доведенная услужливыми клеветами до сведения всемогущего графа.

Сплетня уже несколько месяцев циркулировала в петербургских великосветских гостиных того времени, раздуваемая врагами и завистниками графа, которых было немало.

Ревниво охранявший честь своего имени, гордый доблестью своих предков и им самим сознаваемыми своими заслугами, граф не остался равнодушным к дошедшим до него слухам и враги его торжествовали, найдя ахиллесову пяту у этого неуязвимого, железного человека.

Войдя в кабинет, граф приблизился к письменному столу, около которого стоял простой деревянный стул. Он, однако, не сел на него, а стал рядом, облокотившись обеими руками на стол. Его сгорбленная, мрачная, в наглухо застегнутом мундире, с большими мясистыми ушами, торчавшими над коротко остриженной головой, высокая и сутуловатая фигура – всецело гармонировала с окружающей суровой обстановкой. Его обритое лицо с некрасивыми, вульгарными чертами сначала поражало отсутствием какого-либо оживления, но за этим беспристрастно-холодным выражением сказывались железная воля и несокрушимая энергия. Мясистый, неуклюжий, слегка вздернутый нос «дулей», по меткому народному выражению, портил все его лицо, но зато глаза, с их тусклым цветом, производили странное впечатление. Всегда наполовину опущенные веки, скрывающие зрачки, придавали всему лицу какое-то загадочное выражение, указывали на желание их обладателя всеми силами и мерами скрывать свои думы и ощущения, на постоянную боязнь, как бы кто не прочел их ненароком в глазах и лице.

Вслед за вошедшим в кабинет графом в почтительном отдалении следовал главный дворецкий его петербургского дома Степан Васильевич.

Это был человек лет сорока шести – однолесток графа, с гладко выбритым открытым, чисто-русским лицом, в котором преобладало выражение серьезной грусти, оскорбленного достоинства, непоправимого недовольства судьбой.

Да и действительно, судьба этого человека была далеко не из завидных.

Он был сын любимого слуги покойного отца графа Алексея Андреевича – мать графа была еще жива – Василия. Оставшись после смерти отца, горько оплаканного барином, круглым сиротой, так как его мать умерла вскоре после родов, он был взят в барский дом за товарища к молодому барчонку-первенцу, которому, как и ему, шел тогда второй год.

Андрей Андреевич поручил жене заботиться о нем, как о сыне, так что Елизавета Андреевна мыла зачастую обоих ребят в одном корыте, хотя подчас это свое слепое повиновение мужу вымещала на дворовом мальчишке и ему весьма часто приходилось переносить довольно чувствительные щипки барыни, которая, по воле мужа, должна была разделять для чужого ребенка материнские заботы.

Маленький Степа орал благим матом, а Андрей Андреевич, понимая причину криков ребенка своего покойного фаворита, лишь укоризненно говорил:

– Лизонька!

Мальчишки подрастали и отношения между ними с каждым годом все резче и резче изменялись.

Происходило ли это под влиянием Елизаветы Андреевны, внушавшей сыну, как следует относиться к холопу, или же самолюбивый, мальчик сам не мог простить Василию украденных у него последних, хотя и вынужденных со стороны матери, забот – неизвестно, но только даже когда Алексей Андреевич был выпущен из корпуса в офицеры и Василий был приставлен к нему в камердинеры, отношения какой-то затаенной враждебности со стороны молодого барина к ровеснику слуге нисколько не изменились. Не изменились они и с быстрым возвышением графа по государственной лестнице.

Много терпел Василий от Алексея Андреевича во время службы его в Гатчине и, в конце концов, был осужден в почетную ссылку – сделан дворецким петербургского дома, которого граф не любил и в котором, как мы уже сказали, бывал редко.

Граф обращался с Василием хуже, чем с другими своими дворовыми, пинки и зуботычины сыпались на него градом с каким-то особенным остервенением.

Спешим оговориться, что обращение графа с остальными его дворовыми, а также и его подчиненными, ни чем не разнилось вообще от обращения помещиков и офицеров того времени, и если рассказы о его жестокостях приобрели почти легендарную окраску, то этим он обязан исключительно тому, что в течение двух царствований стоял одиноко и беспартийно вблизи трона со своими строгими требованиями исполнения служебного долга и безусловной честности и бескорыстной преданности государю. Быть может, он увлекался и часто в ничтожных мелочах видел отступление от этих принципов, но и в этом случае он мог найти оправдание в народной мудрости, выразившейся в пословице: «от копеечной свечи Москва сгорела». Другого упрека этому выдающемуся, беспримерному государственному деятелю сделать нельзя, что бы ни писали о нем его современники и неблагодарные, падкие на преувеличения, потомки.

Рассказы первых сшиты почти все белыми нитками злобной зависти, вторым же, по крайней мере, служит извинением, что они судят о поступках деятеля начала века с точки зрения его конца.

Отношения графа к Степану, повторяем, были исключительны даже для того времени.

Весьма понятно, что последний, воспитанный в детстве в сравнительной холе и от того более чуткий к несправедливостям и побоям, считал себя обиженным и платил враждебно относившемуся к нему барину тою же монетою.

Выдались, впрочем, около двух лет во все время его службы при Алексее Андреевиче, о которых он любил вспоминать и вместе с этими воспоминаниями в его уме возникал нежный образ ангела-барыни – эти годы были 1806 и 1807-й, а эта ангел-барыня была жена графа Наталья Федоровна Аракчеева.

При этих воспоминаниях угрюмое лицо Степана освещалось почти детской радостной улыбкой, но вслед затем становилось еще угрюмее, он старался забыть невозвратное и даже топил свои до боли отрадные воспоминания в традиционной рюмочке.

– Адъютант! – совсем в нос, что служило признаком особого раздражения, произнес Алексей Андреевич.

– Петр Андреевич еще не прибывали-с, – угрюмо отвечал Степан.

Граф посмотрел на часы, стоявшие на письменном столе. Они показывали две минуты первого.

Аракчеев мрачно сдвинул брови, и на лице его появились еще более мрачные тени.

– Народу много? – кивнул он в сторону закрытой двери, ведущей в приемную.

– Много-с! – не глядя на графа, произнес дворецкий.

– Вестового за адъютантом! – буркнул граф. – Мигом!.. – и сел на стул.

Степан вышел.

IV Гвардеец

В приемной, действительно, по обыкновению, было множество лиц, ожидавших приема графа. Это были все сплошь генералы, сановники и между ними два министра, были, впрочем, и мелкие чиновники с какими-то испуганными, забитыми лицами.

Среди всей этой раболепной толпы, с душевным трепетом ожидавшей момента предстать пред очи человека случая и власти, выделялся сидевший в небрежной позе молодой, красивый гвардейский офицер.

На его выразительном лице не заметно было ни робости, ни волнения и, по-видимому, ему только было не по себе от нетерпения вследствие долгого ожидания.

Он то и дело сам бросал взгляды своих темно-синих глаз то на дверь, ведущую в кабинет графа, то на другую, ведущую в переднюю.

Офицер этот был Антон Антонович фон Зееман. Он приходился дальним родственником адъютанту графа Аракчеева – Петру Андреевичу Клейнмихелю.

Впрочем, между этими родственниками отношения были более чем холодны: Антон Антонович, несмотря на то, что был лет на десять моложе Петра Андреевича, еще в ранней юности разошелся с ним.

Петр Андреевич, со своей стороны, при редких встречах относился, к нему более по-родственному, но в этих отношениях молодой офицер-идеалист чувствовал снисходительное потворство его бредням со стороны человека до мозга костей практика, каким был Клейнмихель, что еще более раздражало фон Зеемана и делало разделяющую пропасть между ними все глубже и глубже.

Его присутствие в приемной графа Алексея Андреевича было, видимо, не только не обычным, но даже совершенно неожиданным для бессменного в то время адъютанта графа – Петра Андреевича Клейнмихеля, только что вошедшего в приемную и привычным взглядом окинувшего толпу ожидавших приема.

Клейнмихель был еще молодой, щеголеватый, перетянутый в рюмочку, полковник с тоненькими, белокурыми, от ушей ко рту, в виде ленточек, бакенбардами.

Мягко ступая, с особым военным перевальцем и распространяя вокруг себя запах модных духов, Петр Андреевич остановился у входа и вперил удивленно-недоумевающий взгляд своих серых глаз на продолжавшего сидеть в прежней небрежной позе фон Зеемана.

Сохраняя то же недоумевающее выражение на лице, он двинулся по направлению сидящего, отвечая кивком головы на почтительные поклоны присутствующих.

– Антон?

В секунду произошло то, что все заметили, как Клейнмихель вспыхнул и быстро отдернул протянутую было для рукопожатия руку.

Окликнутый офицер официально встал перед старшим его чином, ни одна черта на его лице не дрогнула, он только слегка приподнял голову и, глянув на адъютанта, упорно и презрительно смерил его с головы до пят.

Судя по его лицу, казалось, что ему даже обиден был этот фамильярный оклик, эта протянутая рука. Свои он упорно держал по швам.

– К его сиятельству по личному, не служебному делу! – бесстрастно и официально произнес он.

Клейнмихель поспешно повернулся и двинулся в противоположные двери.

Фон Зееман снова опустился на стул в прежней небрежной позе, не замечая устремленных на него испуганных взглядов окружавшей его раболепной толпы, бывшей свиде-

тельницей его беспримерной дерзости в отношении к адъютанту и любимцу графа Алексея Андреевича – всемогущего любимца царя.

– Не сносить молодцу головы... Петр Андреевич-то весь побагровел... Укатит отсюда с фельдъегерем «куда Макар телят не гонял...» Видно, есть рука, коли так озорничает... Вольтерьянец... Масон... – слышались шепотом передаваемые замечания и соображения.

V Прием

Граф Алексей Андреевич продолжал сидеть за письменным столом, угрюмо устремив взгляд на двигавшуюся стрелку стоявших на письменном столе часов.

Стрелка показывала уже восемь минут второго, когда Петр Андреевич Клейнмихель, осторожно отворив дверь кабинета, поспешно, но бережно ступая по полу, подошел к письменному столу и, выпрямившись, встал, как на часах.

Граф Аракчеев, по-прежнему, не спуская взгляда с циферблата часов и не поворачивая головы к вошедшему, слегка приподнял руку и ткнул молча пальцем в этот циферблат.

– Виноват, опоздал! – пробормотал Клейнмихель. – Простите...

– Надолго! – протянул Алексей Андреевич, как бы равнодушно и лениво, и как бы про себя. – Всякий день от зари до зари всех кругом прощай. Никто своего малейшего долга не чувствует и не исполняет. Зараза французская, вольнодумство всех пожирает, как ржавчина какая. Ну, иди, докладывай и принимай!

Клейнмихель двинулся.

– Да смотри в оба! Ты прапора какого-нибудь прежде генералапустишь. От тебя все станется. Кто там налез?

Петр Андреевич, хотя и быстро прошедший приемную, мог тотчас же перечислить поименно всех ожидавших приема.

– А кроме того-с... – добавил Петр Андреевич и запнулся.

– Кто там еще кроме? – вскинул на него глаза граф.

– Капитан фон Зеeman...

– Кто таков? Не слыхивал...

– Изволили запомнить, ваше сиятельство, мой троюродный брат, еще юнкером когда он был – оказывали ему расположение, по моему предстательству...

– А... синеглазый... Нарышкинский фаворит...

– Так точно...

– Зачем он пожаловал?... Соглядатайствовать...

– Не могу знать... Я к нему было подошел, по-родственному с ним обошелся, а он мне руки не подал, вытянулся в струнку и отрапортовал: «К его сиятельству по личному, не служебному делу!»

– Так и сказал?

– Так!

– Гм!..

– Он, осмелюсь доложить, дружит с полковником Заруд...

Петр Андреевич взглянул в лицо графа и не договорил начатой фамилии.

Лицо его исказилось такою болезненною злобою, что адъютант даже невольно сделал шаг назад.

– А мне какое дело, с каким светским блазнем твой блазень дружит... – прохрипел Алексей Андреевич и, откинувшись на спинку стула, начал поспешно вытирать пот, выступивший на его побагровевшем лице.

– Я осмеливаюсь думать... – начал было Клейнмихель.

– Этого, брат, ты никогда не осмеливайся... – снова оборвал его граф, видимо, пришедший в себя. – Так ты говоришь, что он по личному, не служебному делу...

– Точно так...

– Так после приема... когда скажу... пусть подождет... мальчишка... Ступай...

Все это проговорил Аракчеев тихо, медленно, вяло, глядя как бы сонными глазами на пустую стену.

Хотел ли он под этой маской кажущегося равнодушия скрыть охватившее его и далеко не улегшееся душевное волнение или же после этой бурной вспышки наступила так стремительно реакция – как знать?

Прием начался.

Клейнмихель, постоянно входя и выходя из одной комнаты в другую, докладывал графу с порога имена тех лиц, которые не были лично известны Алексею Андреевичу.

К некоторым из входивших граф Аракчеев поднимался и, обойдя стол, стоял и тихо разговаривал с ними.

Некоторых отводил к стоявшим вдоль стены стульям, просил сесть, присаживался сам и разговаривал менее сухо.

Но большинство он выслушивал сидя за столом, изредка прибавляя порой резко и отрывисто, а порой таким сердечным тоном, который далеко не гармонировал с его угрюмой фигурой:

– Слушаю-с! Постараюсь! Готов служить! Доложу государю!..

По временам слышались, впрочем, иные, более грозные окрики.

– Солдат в генералы не попадает в мгновение ока, а генерал в солдаты может попасть, – достигал до приемной зычный, гнусавый голос графа, и даже сдержанный шепот ожидавших очереди мгновенно замолкал, и наступала та роковая тишина, во время которой, как говорят, слышен полет мухи.

Антон Антонович фон Зеeman пробуждался от своей задумчивости, взглядывал на дверь и на губах его появлялась полуироническая, полупрезрительная улыбка.

Прием, продолжавшийся уже около двух часов, кончался: проходили уже согнутые, трепещущие фигуры мелких чиновников, а фамилия капитана фон Зеemана не произносилась Петром Андреевичем Клейнмихелем.

Наконец, последний «мелкий чинуша» вышел из кабинета. Клейнмихель тоже появился на его пороге. Фон Зеeman, очутившись один в пустынной зале, встал, чтобы обратиться на себя внимание адъютанта.

Тот, как бы не замечая его, подошел к окну и затем, круто повернув, прошел мимо него.

– Желал бы быть принятым его сиятельством, – вытянулся в струнку Антон Антонович.

– Вас позовут! – бросил ему на ходу Клейнмихель с небрежной усмешкой и прошел в дверь, ведущую в переднюю.

На самом деле, приняв последнего посетителя, граф Алексей Андреевич отрывисто заметил Петру Андреевичу:

– Теперь ступай! За блазнем вышлю Степана, успеем узнать, что ему так приспичило со мной разговаривать.

Клейнмихель вышел.

Граф Алексей Андреевич снова погрузился в свои невеселые думы.

VI

Одинаковые думы

На красивое лицо Антона Антоновича после слов Клейнмихеля набежала тень смущения – он не ожидал такого оборота дела; он понял, что всезнающий граф проник в цель его посещения и хочет утомить врага, который нравственно был ему не по силам. Значит, он его не застанет врасплох, значит, предстоит борьба и кто еще выйдет из нее победителем; у «железного графа» было, это сознавал фон Зеeman, много шансов, хотя и удар, ему приготовленный, был рассчитан и обдуман, но приготавливавшие его главным образом надеялись на неожиданность, на неподготовленность противника. Теперь эти шансы, видимо, ускользали от них.

«Уехать, отложить, рассказать...» – мелькнуло в голове молодого офицера.

Он даже посмотрел на закрытую наглухо за вышедшим Клейнмихелем дверь, ведущую в переднюю, и откинул эту мысль.

«Это будет бегством... трусостью... – стал стыдить он самого себя. – Будь что будет! Стану дожидаться хоть до утра, а увижу сегодня же этого дуболома...» – мысленно рассуждал он и снова уселся на стул.

После этого решения Антон Антонович вдруг совершенно успокоился и даже думы его далеко отошли от предстоящего свидания с графом.

Он стал от нечего делать оглядывать приемную, уже по углам заволакивавшуюся ранними зимними сумерками. Это была комната, служившая в былые времена танцевальной залой.

Убранство ее было довольно простое: стулья и скамьи, обитые штофом, по стенам и на окнах гардины да люстра посредине. В простенках были высокие зеркала, и на одной из стен огромное зеркало, аршина в три ширины и аршин пять в высоту.

У противоположной стены стояли знамена. Так как граф был шефом полка его имени, то и знамена находились в его доме, а у дома, вследствие этого, стоял всегда почетный караул.

Вся эта обстановка напоминала фон Зеemanу годы его юности, и он мысленно стал переживать эти минувшие безвозвратные годы, все испытанное им, все им пережитое, доведшее его до смелой решимости вызваться прибыть сегодня к графу и бросить ему в лицо жестокое, но, по убеждению Антона Антоновича, вполне заслуженное им слово, бросить, хотя не от себя, а по поручению других, но эти другие были для него дороже и ближе самых ближайших родственников, а не только этой «седьмой воды на киселе», каким приходился ему ненавистный Клейнмихель.

При воспоминании о только что вышедшем адъютанте фон Зеeman сделал даже брезгливый жест.

Граф Алексей Андреевич продолжал, между тем, задумчиво сидеть у письменного стола в своем мрачном кабинете. Тени сумерек ложились в нем гуще, нежели в зале, но граф, по-видимому, не замечал этого, или же ему нравился начинавший окружать его мрак, так гармонизировавший с настроением его духа.

Степан Васильев неслышными шагами вошел в кабинет, но чуткий Алексей Андреевич тотчас оглянулся.

– Чего тебе?

– Огня, я думал.

– И этот думает. Пошел вон, позову.

Степан удалился, что-то ворча себе под нос.

Граф не слышал этой воркотни, иначе бы не сдобровать камердинеру.

Алексей Андреевич не оборвал нить своих тяжелых воспоминаний и снова погрузился в них.

Степан Васильев, все продолжая ворчать, добрал до своей комнатки, опустился на стул у столика, покрытого цветною скатертью и, исчерпав по адресу графа весь свой лексикон заочных ругательств, тоже задумался, склонив свою голову на руки.

По странной случайности, все эти три лица: граф в своем кабинете, Антон Антонович фон Зеeman в опустевшей приемной и Степан Васильев в своей каморке думали в общих чертах об одном и том же.

Из этих воспоминаний в сложности можно было создать яркую картину последних минувших десяти лет, главными центральными фигурами которой являлись граф Алексей Андреевич Аракчеев, его жена графиня Наталья Федоровна и домоправительница графа – Настасья Федоровна Минкина, тоже прозванная «графинею».

Воссозданием этой картины мы и займемся, но для этого нам придется с тобой, дорогой читатель, перенестись на десять лет назад.

VII

На Васильевском острове

На 6-й линии Васильевского острова, далеко в то время не оживленного, а, напротив, заселенного весьма мало сравнительно с остальными частями Петербурга, стоял одноэтажный, выкрашенный в темно-коричневую краску, деревянный домик, который до сих пор помнят старожилы, так как он не особенно давно был заменен четырехэтажным каменным домом новейшего типа, разобранным вследствие его ветхости по приказанию полицейской власти.

Несколько лет, как уверяют, он стоял заколоченным, так как не находилось покупателя на место, а самый дом был предназначен к слому.

По рассказам тех же стариков, этот полуразвалившийся дом служил для ночлега бродяг и темных людей, от которых не были безопасны пешеходы в этой пустынной, сравнительно, в то время местности.

Еще пустыннее она была в описываемое нами время.

Известно, что Васильевский остров – это излюбленное место великого основателя Петербурга, из которого он хотел сделать торговую часть города, прорезанную каналом, вроде Амстердама.

С кончиною Петра I многое начатое им осталось неоконченным. Его преемники, Екатерина I и Петр II, ничего не сделали для Петербурга. Петр II думал даже столицу перевести снова в Москву, как размышлял это и сын Петра I – Алексей, так трагически окончивший свои дни. В непродолжительное царствование Петра II Петербург особенно запустел, и на Васильевском острове, который тогда называли Преображенским, многие каменные дома были брошены неоконченными и стояли без крыш и потолков.

Заметим кстати, что название Васильевского острова произошло не от имени командира батареи острова Василия Корягина, как полагают многие, но еще гораздо ранее, а именно в 1640 году в писцовых новгородских книгах этот остров носил название Васильевского.

Несмотря на принятые затем строгие принудительные меры к заселению острова, дело это подвигалось туго, так как этот остров наиболее всех частей столицы страдал от наводнений.

Чтобы предотвратить эти наводнения, еще в первых годах, при основании Петербурга, архитекторы Петра Великого, Леблонд и Трезин, думали весь Васильевский остров поднять на 1½ сажени. Сам Петр предполагал застраховать Васильевский остров от наводнений, перерыв его большими каналами, как в Венеции.

Затем, в описываемую уже нами эпоху при Александре I, архитектор Модьи представил свои предположения об устройстве города на Васильевском острове и Петербургской стороне; на этот проект государь сказал: «Проект ваш был проектом Петра Великого, он хотел сделать из Васильевского острова вторую Венецию, но, к несчастью, должен был прекратить работы, ибо те, коим поручено было исполнение его мысли, не поняли его: вместо каналов они сделали рвы, кои до сих пор существуют».

Такова печальная судьба этого острова.

В настоящее время, когда каждая пядь столичной земли ценится чуть ли не на вес золота и город растет не по дням, а по часам, опасность наводнений не останавливает обывателей и они воздвигают и на Васильевском острове многоэтажные громады.

Но мы слишком уклонились историческими справками от описываемого нами деревянного одноэтажного домика.

Возвратимся к нему.

Домик этот в 1805 году принадлежал отставному генерал-майору Федору Николаевичу Хомутову. Федор Николаевич был человек лет около семидесяти, хотя по виду казался старше своих лет. Не даром, видимо, ему досталась служебная лямка, тянув которую из сдаточного рекрута он сумел дослужиться до высокого военного чина. Этот чин составлял его радость и гордость, и он требовал неукоснительно от всех величания себя «вашим превосходительством», бранясь и негодуя по целым дням и часам за неисполнение кем-нибудь этого акта чинопочитания.

Второю его гордостью и радостью была его дочь Наталья Федоровна, которой шел семнадцатый год.

Два его старших сына уже служили офицерами в расположенных вдали от столицы полках.

Содержание их в гвардии было не по средствам не особенно богатой семье Хомутовых.

Семья эта, то есть члены ее, жившие в Петербурге, состояла из старика отца, упомянутого Федора Николаевича, его жены, женщины лет за пятьдесят, Дарьи Алексеевны, и дочери «Талечки», как сокращенно звали ее отец и мать.

В доме царил относительно довольство. Федор Николаевич, кроме довольно значительного для того времени пенсионера и скопленного во время долговременного командования полком изрядного капитала, владел еще небольшим имением, с пятьюдесятью душами крестьян, в средней полосе России, полученным им в приданое за женой.

Не балуя служащих вдали сыновей большими субсидиями, он мог окружать себя относительно комфорта, и безумно, даже сверх меры, как замечали ему его старые друзья, баловать и лелеять свою, боготворимую им, Талечку.

— И какому заморскому принцу вы ее в жены готовите? — не без ядовитости спрашивали собравшиеся нередко у гостеприимных Хомутовых их знакомые, все больше такие же, как Дарья Алексеевна, отставные полковые дамы с мужьями, сослуживцами Федора Николаевича.

— И какому там принцу, что вы не скажете! Талечка у меня совсем еще ребенок и ей о замужестве помышлять рано, — отпарировала всегда Дарья Алексеевна.

— Какой там рано, девушка в самой что ни на есть поре, — не унимались дамы.

— Вы при ней-то этого не сморозьте, я-то ко всем вашим плоскостям привыкла, — раздражалась уже резко Дарья Алексеевна, не стеснявшаяся вообще ни в выражениях, ни в манерах, что было принято тогда в кругу полковых дам, которых она в этом отношении всех затыкала за пояс, за что от кавалеров заслужила прозвище «бой-барыни».

Кроме означенных трех лиц, в доме находилась девочка лет девяти — Лидочка, считавшаяся дальней родственницей Дарье Алексеевне Хомутовой, ею же самою выдаваемая сиротой-приемышем.

Эта странная неопределенность ее положения объяснялась романической таинственностью, окружавшею появление на свет этой в полном смысле красавицы-девочки.

Черные как смоль локоны окружали матовой белизны личико с правильными тонкими чертами, красиво разрезанные глубокие темно-коричневые глаза, полузакрытые длинными ресницами и украшенные правильными дугами соболиных бровей, довершали неотразимое очарование этой смуглянки.

Стройненькая, высокая, смышленная далеко не по летам, она явно носила на себе печать рано развивающихся детей Востока.

Этот-то восточный тип ребенка давал большую вероятность рассказам Дарьи Алексеевны, что он для нее совершенно чужой, но что любит она его как родного и никакой разницы между Талечкой и им не делает.

Многочисленные дворовые, находившиеся, по обычаю того времени, в людской, девичьей и передней, а также некоторые из близко и давно знавших семью Хомутовых утверждали иное.

Первые втихомолку, а вторые заочно и под секретом рассказывали, что Лидочка приходилась двоюродной внучкой Дарье Алексеевне, так как была незаконной дочерью ее племянницы Анны Павловны Суцевской, дочери старшей сестры Хомутовой, урожденной Хмыровой, Лидии.

Анна Павловна, оставшись после смерти ее отца и матери, совершенно разорившихся при жизни, круглой сиротою, была взята Дарьей Алексеевной, у которой прожила с тринадцати до двадцати лет, влюбилась в какого-то грузинского князя, который увез ее из дома тетки, обманул и вскоре бросил.

Больная, в последнем месяце беременности, она явилась к резкой и строгой на вид, но в душе доброй и всепрощающей Дарье Алексеевне и упала к ее ногам.

Последняя скрыла ее, по возможности, от взора посторонних, но несчастная девушка умерла в родах, и на руках Хомутовой осталась смуглянка-девочка, которую Дарья Алексеевна и объявила подкидышем.

Она сама была ее крестной матерью и сама, не досыпая ночей, выходила хилого и болезненного ребенка.

Такова была история «турчанки», как заочно звали Лидочку дворовые люди в доме Хомутовых.

Эти четверо лиц, не считая прислуги обоего полу, и были обитателями одноэтажного деревянного домика, окрашенного желто-коричневою краскою, на 6-й линии Васильевского острова.

VIII

Талечка

Наталья Федоровна Хомутова была не только кумиром своего отца, но прямо центром, к которому, как радиусы, сходились симпатии всех домашних, начиная с главы дома и кончая последним дворовым мальчишкой, носившим громкое прозвище «казачка» или «грума».

Она была далеко не красавица, но ее симпатичное, свежестью молодости и здоровья блиставшее личико, окруженное густыми темно-каштановыми волосами, невольно останавливало на себе внимание своим чарующим выражением доброты и непорочности, и лишь маленькая складочка на лбу над немного вздернутым носиком, появлявшаяся в редкие минуты раздражения, указывала на сильный характер, на твердость духа в этом хрупком, миниатюрном тельце.

Талечка – таково, как мы знаем, было ее домашнее прозвище – была ростом ниже среднего, но грациозная и пропорционально сложенная, она казалась рано развившимся прелестным ребенком, чему еще более способствовал удивленно-наивный взгляд ее серых глаз.

Никто не дал бы ей восемнадцатого года, который шел ей в момент нашего рассказа.

С детства окружавшее ее непомерное баловство, исполнение, даже предупреждение всех ее малейших желаний, не развили в ней, что бывает лишь в единичных случаях, своеволия и каприза, не сделали из нее тиранки-барышни, типа балованной помещицкой дочки, в то время заурядного.

Напротив, окружающее ее довольство порождало в ней желание доставить его в большей или меньшей степени всем, не только зависимым от ней по своему положению людям, но и посторонним, так или иначе с ней сталкивавшимся. Она была защитницей за всех провинившихся перед строгим и взыскательным Федором Николаевичем, вынесшим из пройденной им суровой солдатской школы склонность к крутым мерам и жестоким наказаниям виноватого, что служило, по его мнению, лучшим средством сохранения домашней дисциплины. Она же была первая в ходатайстве перед матерью о помощи как своим, так и чужим людям, впавшим в ту или другую беду, в то или другое несчастье.

За это-то не только дворовые люди и крестьяне, но и все окольные бедняки звали ее не иначе, как «ненаглядной кралечкой», «ангелом-барышней» и в глаза и за глаза желали ей всех благ мира сего, да жениха – заморского принца и куль червонцев.

Дарья Алексеевна, впрочем, была права, парируя намеки своих приятельниц о замужестве дочери, говоря, что последняя еще совсем ребенок.

Талечка, на самом деле, и по наружности, и по внутреннему своему мировоззрению была им. Радостно смотрела она на мир Божий, с любовью относилась к окружающим ее людям, боготворила отца и мать, нежно была привязана к Лидочке, но вне этих трех последних лиц, среди знакомых молодых людей, посещавших, хотя и не в большом количестве, их дом, не находилось еще никого, кто бы заставил не так ровно забиться ее полное общей любви ко всему человечеству сердце.

Выросшая среди походной жизни родителей, почти без подруг, она и этим обыкновенным для других способом не могла узнать многое из того, что делает в наше время, даже часто преждевременно, из ребенка женщину.

В ней не было поэтому даже намек на малейшее кокетство, но это его полное отсутствие делало ее еще более очаровательной.

Воспитание Наталья Федоровна получила чисто домашнее: русской грамоте и закону Божьему, состоявшему в чтении Евангелии и изучении молитв, обучала ее мать, а прочим наукам и французскому языку, которого не знала Дарья Алексеевна, нанятая богобоязненная

старушка-француженка Леонтина Робертовна Дюран, которую все в доме в лицо звали мамзель, а заочно Левонтьевной.

Леонтина Робертовна, сама не особенно сведущая в разных науках, добросовестно, однако, передавала своей ученице, к которой она привязалась всем своим пылким стародевственным сердцем, скудный запас своих знаний, научила ее практике французского языка и давала для чтения книги из своей маленькой библиотеки.

Из этих книг молодая девушка не могла почерпнуть ни малейшего знания жизни, не могла она почерпнуть их и из бесед со своей воспитательницей, идеалисткой чистейшей воды, а лишь вынесла несомненную склонность к мистицизму, идею о сладости героических самопожертвований, так как любимыми героинями m-lle Дюран были, с одной стороны, Иоанна Д'Арк, а с другой – героиня современных событий во Франции, «святая мученица» – как называла ее Леонтина Робертовна – Шарлотта Корде.

Девять лет прожила старушка в семье Хомутовых и умерла, когда ее воспитаннице минуло семнадцать лет, подарив ей перед смертью свою библиотеку, кольцо из волос Шарлотты Корде, присланное покойной из Парижа ее двоюродным внуком, также погибшим или пропавшим без вести во время первой революции, что служило неистощимой темой для разговоров между ученицей и воспитательницей, причем последняя описывала своего «brave petit fils» яркими красками безграничной любви.

Смерть Леонтины Робертовны была первым жизненным горем Талечки, она любила ее почти наравне с родною матерью, и эта утрата горьким диссонансом отзывалась в ее доселе безмятежной душе.

С кольцом из волос Шарлотты Корде – в подлинности последних она, как и покойная, ни на минуту не сомневалась – Талечка дала клятву не расставаться всю свою жизнь.

Своею смертью старушка укрепила и освятила переданные ею своей ученице идеи и воззрения – в память m-lle Leontine Наталья Федоровна читала и перечитывала завещанную ей библиотеку; в память ее же она в своих мечтах о будущем видела себя то благотворительницей, то монашенкой, то мученицей.

Такова была Талечка в момент, когда застает ее наш правдивый рассказ.

Жизнь ее протекала в родительском доме с поражающим однообразием: сегодня было совершенно похоже на завтра, и ни один день не вносил ничего нового в сумму пережитых впечатлений.

Круг знакомых хотя и был довольно большой, но состоял преимущественно из подруг ее матери – старушек и из сослуживцев ее отца – отставных военных. У тех и других были свои специальные интересы, свои специальные разговоры, которыми не интересовалась и которых даже не понимала молодая девушка.

Два лица, вносившие относительную жизнь в это отжившее царство, были – Екатерина Петровна Бахметьева, сверстница Талечки по годам, дочь покойного друга ее отца и приятельницы матери – бодрой старушки, почти молившейся на свою единственную дочурку, на свою Катиш, как называла ее Мавра Сергеевна Бахметьева, и знакомый нам, хотя только по имени, молодой гвардеец – Николай Павлович Зарудин, с отцом которого, бывшим губернатором одной из ближайших к Петербургской губернии местностей, Федор Николаевич Хомутов был в приятельских отношениях.

Старик Павел Кириллович Зарудин любил в Хомутове прямизну и правдивость, и редко выезжая из дому, вследствие болезни и сильно отразившихся на нем первых служебных неприятностей, неукоснительно раз в неделю присылал сына на Васильевский остров, чтобы потом подробно расспросить его о здоровье, о жите-бытье его друга.

IX

Николай Павлович Зарудин

Только первое время Николай Павлович отбывал свой визит к Хомутовым единственно по воле своего родителя, впоследствии же к этому присоединилось и собственное влечение – он стал засиживаться в коричневом домике Васильевского острова долее необходимого времени, чтобы изготовить своему отцу словесный рапорт о благоденствии его обитателей, и подолгу стал засматриваться на симпатичное личико Натальи Федоровны, этого полурбенка-полудевушки.

Сначала дичившаяся его, Талечка с течением времени привыкла к нему, стала разговорчивее и откровеннее, но в ее детских глазках он никогда не мог прочесть ни малейшего смущения даже в ответ на бросаемые им порой страстные, красноречивые взгляды – ясно было, что ему ни на мгновение не удалось нарушить сердечный покой молодой девушки, не удалось произвести ни малейшей зыби на зеркальной поверхности ее души.

Это обстоятельство привлекало его к ней с еще большею силою, но вместе с тем сделало его крайне сдержанным и осторожным: он как бы стал бояться не только словами, но даже взглядом святотатственно проникнуть в святая святых этой непорочной чистой девушки, казавшейся ему не от мира сего.

Он стал, казалось, скорее молиться на нее, нежели любить ее.

Такое платоническое поклонение горячо любимому существу было далеко не в нравах военной молодежи того времени.

В блестящее царствование Екатерины II, лично переписывавшейся с Вольтером, влияние французских энциклопедистов быстро отразилось на интеллигентной части русского общества и разрасталось под животворным покровительством с высоты трона; непродолжительное царствование Павла I, несмотря на строгие, почти жестокие меры, не могло вырвать с корнем «вольного духа», как выражались современники; с воцарением же Александра I – этого достойного внука своей великой бабки, – этот корень дал новые и многочисленные ростки.

Пример Франции, доведенной этим учением ее энциклопедистов до кровавой революции, был грозным кошмаром и для русского общества, и хотя государь Александр Павлович, мягкий по натуре, не мог, конечно, продолжать внутренней железной политики своего отца, но все-таки и в его царствовании были приняты некоторые меры, едва ли, впрочем, лично в нем нашедшие свою инициативу, для отвлечения молодых умов, по крайней мере, среди военных, от опасных учений и идей, названных даже великою Екатериной в конце ее царствования «энциклопедическою заразою».

Военное начальство стало искоренять всякое вольнодумство, представляя одновременно широкий простор правам молодости, чуть не поощряя всякие буйства, разнузданности, соблазны и скандалы.

– Пускай молодежь тешится всякой чертовщиной, лишь бы бросила «вольтеровщину», – таковы были слова, приписываемые одному крупному начальствующему лицу того времени.

Поблажка всяким шалостям произвела моду на эти шалости. И скоро это поветрие дошло до того, что самый скромный, добродушный корнет или прапорщик, еще только свежеиспеченный офицер, как бы обязывался новой модой – отличиться, принять крещение или «пройти экватор», как выражались старшие товарищи.

«Пройти экватор» – значило совершить скандал по мере сил и умения, как Бог на душу положит. Вскоре, разумеется, явились и виртуозы по этой части, имена которых гремели на

всю столицу, стоустая молва переносила их в захолустья, и слава о подвигах героев расходилась по весям¹ и городам российским.

От военных старались не отставать и статские, и эта буйная «золотая молодежь» того времени, эти тогдашние «шуты» и «саврасы без узды» носили название «питерских блазней».

К числу последних с немногими из своих товарищей не принадлежал Николай Павлович Зарудин.

Выйдя из Пажеского корпуса 18 лет, он сделался модным гвардейским офицером, каких было много. Он отлично говорил по-французски, ловко танцевал, знал некоторые сочинения Вольтера и Руссо, но кутежи были у него на заднем плане, а на первом стояли «права человека», великие столпы мира – «свобода, равенство и братство», «божественность природы» и, наконец, целые тирады из пресловутого «Эмиля» Руссо, забытого во Франции, но вошедшего в моду на берегах Невы.

Начальство косилось на примерного по службе, на «размышляющего» офицера, но поделаться ничего не могло – Николай Павлович был принят в дом и даже считался фаворитом Марьи Антоновны Нарышкиной.

Как ни были страшны начальству республиканские идеи молодого офицера, они были настолько наивны и невинны, что вполне сходились с идеями Талечки, ученицы старушки Дюран, роялистки чистейшей пробы.

Это еще более сблизило молодых людей.

За последнее время Николай Павлович стал кататься на Васильевский остров гораздо чаще – раза два, три каждую неделю.

Целые вечера проводил он в беседах с Натальей Федоровной, и предметами этих бесед были большею частью интересующие их обоих отвлеченные темы.

Федор Николаевич, по обыкновению, дремал в кресле под их «переливание из пустого в порожнее», как называл он разговоры молодого офицера с его дочерью. Лидочка в одном из уголков довольно обширной гостиной, полуосвещенной четырьмя восковыми свечами, сосредоточенно играла в куклы, находясь обыкновенно к вечеру в таком состоянии, о котором домашние говорили «на нашу вертушку тихий стих нашел», и лишь одна Катя Бахметьева, за последнее время чуть не ежедневно посещавшая Талечку, глядела на разговаривающих во все свои прекрасные темно-синие глаза.

Все ее прелестное, нежное личико, обрамленное, как бы сиянием, светло-золотистыми волосами, красноречиво говорило, что ее интересует собственно не содержание, а самый процесс разговора, да и в последнем случае только со стороны красивого гвардейца. Она наивно не спускала глаз с его стройной фигуры, с его выразительного матово-бледного лица, оттененного небольшими, но красивыми и выхоленными черными усиками и слегка вьющимися блестящими волосами на голове, с его, как бы выточенного из слоновой кости, лба и сверкающих из-под как будто вырисованных густых бровей больших, умных карих глаз.

Если бы все внимание Николая Павловича не было сосредоточено исключительно на его собеседнице, то он несомненно обратил бы внимание на восторженное, оживленное, казалось, беспричинной радостью лицо молодой девушки и, быть может, сразу бы разгадал тайну ее чересчур откровенного сердца.

Но Зарудину было не до того – он молился одному кумиру, и этот кумир была Наталья Федоровна Хомотова.

¹ Села, деревни.

Х

Отец и мать

Исключительное внимание молодого гвардейца к их дочери не ускользнуло от стариков Хомутовых, или, вернее сказать, от зоркого глаза Дарьи Алексеевны, как не ускользнуло от нее и поведение относительно Зарудина молодой Бахметьевой.

– Влюбилась девка, как кошка, так на него свои глазища и пялит, а он на нее, сердечную, нуль внимания, нашу так и ест глазами, – сообщала она свои соображения Федору Николаевичу.

– И я заприметил, – счел долгом поддержать в жене мнение и о своей прозорливости старик. – А Талечка, как и что? – после некоторой паузы с тревогой в голосе спросил он, не соображая, что этим вопросом разрушал в уме жены впечатление того, что и он что-нибудь заприметил.

– Наша-то? Да разве наша в этих делах что-нибудь смыслит? Ребенок ведь сущий, хотя и восемнадцатый год, пора, когда наши матери по трое детей имели, глядит ему в рот, что он скажет, и сама сейчас словами засыплет, а чтобы на нежные взгляды его внимание обратить или улыбочкой ответить... с нее это и не спрашивай... – с оттенком горечи заметила Дарья Алексеевна.

– Что это, мать, ты как будто недовольна, что дочь на шею мужчине не вешается? Ей и не след, не чета она у нас Бахметьевской... – строго заметил Федор Николаевич.

– Уж и ты, отец, скажешь, ровно топором отрубишь: «на шею мужчине не вешается». Иное дело вешаться, а иное дело некоторое сочувствие молодому мужчине выказать, ежели он нравится. Чай и я тебя взяла глазами и пронзительной улыбкой.

– Ишь, старуха, старину вспомнила, – улыбнулся Федор Николаевич.

– Да к тому и вспомнила, что не нами это началось, не нами и кончится... Молодежь-то, что мы, что они – все та же.

– Ну, это тоже надвое написано: та же ли? – задумчиво вставил Хомутов.

– Это ты насчет чтений ихних, так это оставь, чтения чтениями, а по любовным делам, как это от века велось, так с концом века и кончится, – авторитетно заметила Дарья Алексеевна.

Хомутов снова улыбнулся.

– А может, он ей и не нравится?

– Вот то-то и оно... Этого-то мне допытаться и хочется, а как приступить, ума не приложу. С Талечкой говорить без толку не приходится, а, между тем, лучшей для ней партии и желать нечего – человек он хороший, к старшим почтительный, не то что все остальные петербургские блазни, кажись бы в старых девках дочь свою сгноила, чем их на ружейный выстрел к ней подпустила бы. К тому же и рода он хорошего, а со стариком вы приятели.

– Приятели, – перебил он жену, – а действуем-то мы с тобой относительно его не по-приятельски...

Дарья Алексеевна вскинула на него удивленный взгляд.

– Как так?

– Да так, сына его на нашей дочери женить собираемся, а о том, чтобы спросить его согласия и не додумались, а может, сынок-то и без родительского ведома к нам зачастил, может, у Павла Кирилловича ему невеста на примете есть.

– И что ты! – испугалась Дарья Алексеевна. – Он сам мне не раз говорил, что о каждом визите к нам отцу докладывает, да и Талечке всегда от отца поклон приносит...

– Это, мать, может языковесание, знаю я тоже молодежь, сам молод был, – задумчиво произнес Хомутов.

– Что же ты надумал?

– Что же тут и надумывать, съездить надо к его превосходительству, да все напрямик и отпрапортовать, так и так, дескать, сынка вашего моя дочка, видимо, за сердце схватила, так какие будут по этому поводу со стороны вашего превосходительства распоряжения, в атаку ли ему идти дозволите, или отступление прикажете протрубить, али же какую другую ему диверсию назначите... – шутливо произнес Хомутов.

Дарья Алексеевна поняла, несмотря на шутливый тон мужа, что он высказал свое бесповоротное решение, поняла также, что перспектива свадьбы ее дочери с молодым Зарудиным была далеко не благоприятна Федору Николаевичу.

– А как же насчет Бахметьевской, отвадить как-нибудь по-деликатному или матери сказать? – после некоторого молчания, с расстановкой, как бы робея, спросила она.

– И вечно ты, мать, с экивоками и разными придворными штуками, – с раздражением в голосе отвечал он. – Знаешь ведь, что не люблю я этого, не первый год живем. «Отвадить по-деликатному или матери сказать», – передразнил он жену. – Ни то, ни другое, потому что все это будет иметь вид, что мы боимся, как бы дочернего жениха из рук не выпустить, ловлей его пахнет, а это куда не хорошо... Так-то, мать, ты это и сообрази... Катя-то у нас?

– У нас, – недовольным голосом сказала Дарья Алексеевна.

– Ну и пусть ходит, Талечка ее любит, и ей с ней все веселее, чем одной-то с книгами... Еще ум за разум зайдет, не в час будет сказано... А теперь, старуха, пойдем чай пить!.. – уже более ласково сказал он.

Разговор происходил вечером, в кабинете Федора Николаевича. Зарудин был накануне, а потому его не ожидали.

XI

Признание

В то самое время, когда между стариками Хомутовыми шла выше описанная беседа, другие сцены, отчасти, впрочем, имеющие связь с разговором в кабинете, происходили в спальне Талечки.

Спальня эта была довольно большой комнатой, помещавшейся в глубине дома, невдалеке от спальни отца и матери, с двумя окнами, выходившими в сад, завешанными белыми шторами. Сальная свеча, стоявшая на комод, полусвещала ее, оставляя темными углы. Обставлена она была массивною мебелью в белоснежных чехлах, такая же белоснежная кровать стояла у одной из стен, небольшой письменный стол и этажерка с книгами и разными безделушками – подарками баловника-отца, довершали ее убранство.

Талечка и Катя Бахметьева находились в одном из неосвещенных углов этой комнаты в странно необычной позе: Талечка сидела на стуле, склонившись над своей подругой, стоявшей на коленях, прятанной свое лицо в коленях Талечки, и горько, беззвучно рыдавшей.

– Катя, Катечка... что с тобой? – недоумевающе удивленным тоном, тоже со слезами в голосе, говорила последняя.

Та продолжала неудержимое всхлипывать.

«И с чего это с ней так вдруг? – пронеслось в голове Натальи Федоровны. – Ходили мы с ней обнявшись по комнате, о том, о сем разговаривали, заговорили о Николае Павловиче, сказала я, что он, по-моему, умный человек, и вдруг... схватила она меня за плечи, усадила на стул, упала предо мною на колени и ни с того, ни с сего зарыдала...»

– Катя, Катечка, что ты, что с тобой? – повторяла она, еще ниже наклонясь к рыдавшей подруге. – Да скажи же хоть слово...

– Ты... тоже... любишь его... – всхлипывая прошептала Катя.

– Любишь... тоже... кого? – удивилась Талечка.

– Любишь... Я вижу, что любишь... и он тебя... а я, я несчастная... конечно, ты лучше меня, но за что же мне-то... погибать?

Наталья Федоровна не понимала ничего из этого бессвязного бреда плачущей подруги.

– Кого я люблю?... Кто он? Да скажи толком... Ничего не понимаю! – с отчаянием в голосе почти крикнула Талечка.

– Не понимаешь... притворщица... не ожидала я от тебя этого...

В голосе Кати прозвучала неподдельная нотка сердечной горечи.

– Клянусь тебе, что я нимало не притворялась, говоря тебе, что ничего не понимаю и о ком ты речь ведешь, не могу догадаться.

– Да о ком же... как не о нем... о Николае... Павловиче... – с видимым усилием проговорила Екатерина Петровна.

– О Николае... Павловиче... – с расстановкой проговорила Талечка.

– Да, о нем, – вдруг подняла голову Катя и еще полными слез глазами в упор посмотрела на нее. – Ведь... ты... тоже... любишь его... – добавила она глухим голосом.

Наталья Федоровна продолжала удивленно смотреть на нее.

– Я... я... не знаю...

– Чего же тут не знать, любишь или не любишь...

– Я не знаю, я не понимаю, как любишь ты... Садись и расскажи мне.

Наталья Федоровна подняла свою подругу и усадила ее на стул возле себя.

Та послушно повиновалась, но молчала.

– Так расскажи же... – повторила Талечка.

– А ты... ты не притворяешься? – снова спросила молодая девушка, и слезы вновь градом посыпались из ее глаз.

– Да говорят же тебе нет... Поклялась ведь я тебе... Какая ты... нехорошая.

Катя потупилась и начала, вытерев глазки:

– Так слушай же, – Екатерина Петровна склонила свою голову на плечо Талечки, – полюбила я его с первого раза, как увидела, точно сердце оборвалось тогда у меня, и с тех пор вот уже три месяца покоя ни днем, ни ночью не имею, без него с тоски умираю, увижу его, глаза отвести не могу, а взглянет он – рада сквозь землю провалиться, да не часто он на меня и взглядывает...

На ее лице появилось выражение безысходного горя.

Талечка слушала ее с прежним удивленно-вопросительным взглядом своих чудных, детских глаз. Действительно, Катя заметно за последнее время осунулась и побледнела, чего Наталья Федоровна, видя свою подругу чуть ли не каждый день, прежде и не заметила.

– Бедная, бедная... вот она любовь... – мелькнуло в ее голове.

– Сама знаю я, что выдаю себя, неотступно глядя на него, и совестно мне, а не могу пересилить себя... совсем не знаю, что и делать мне с собою?..

Она остановилась и вопросительно посмотрела на Талечку. Та растерянно смотрела на нее.

– Я уж и сама не знаю, как тут быть... – убитым голосом пролепетала она.

– Не знаешь... вот и ты не знаешь... а может, ты и не хочешь знать, ведь он... он любит... тебя, – с трудом, низко опустив на грудь Талечки свою голову, пролепетала Катя.

– Он?... Меня?... – даже отстранилась от нее Наталья Федоровна.

– Точно сама ты до сих пор не знала этого... – подозрительно взглянула на нее Екатерина Петровна.

– Конечно, не знала... А ты? Ты с чего это выдумала?..

– Какой там выдумала, только слепой не заметит, как он глядит на тебя.

– Я тоже не заметила...

– Будто?

– Ей-Богу!

– Так успокойся и поверь мне: любит он тебя, любит! – с горечью почти вскрикнула Катя.

– Чего же мне-то успокаиваться?.. Мне все равно, – произнесла Талечка.

– Как все равно? Все равно, любит ли он? – с недоумением уставилась на нее Бахметьева.

– Ну да, все равно...

Тон голоса Натальи Федоровны был настолько спокоен и искренен, что Екатерина Петровна вдруг замолчала и пристально стала смотреть на нее.

– Ты и впрямь не любишь его? – робко заметила она после довольно продолжительной паузы.

– Впрямь, – улыбнулась Талечка. – Так как ты его любишь, я не люблю его. И если то, что ты чувствуешь к нему – любовь...

Она остановилась.

– Конечно же любовь! – вставила Катя.

– Тогда я не чувствую к нему... любви... Клянусь тебе!.. Мне приятно видеть его, говорить с ним, я привыкла к нему, не дичусь его, но вот... и все...

– Милая, хорошая моя... как я рада! – порывисто бросилась Бахметьева обнимать подругу.

– Чему же ты... рада?

– Как же! Ведь я было сердиться на тебя стала... минутами почти ненавидела тебя... Думала, ты тоже любишь его, думала – ты моя... соперница... Прости меня, прости...

Катя снова ударилась в слезы.

– Полно, не плачь... какая ты смешная... и глупенькая... – с нежностью обняла в свою очередь подругу Талечка.

Та продолжала тихо плакать.

– Лучше подумаем, как бы твоему горю помочь, – после некоторого раздумья произнесла Наталья Федоровна.

– Как ему помочь? Помочь нельзя... он меня не любит...

– А может, и полюбит, как узнает, что ты его любишь так...

– От кого же ему узнать это? – с испугом спросила Катя.

– От меня...

– От тебя? Что ты, что ты... Ты хочешь сказать ему...

– Конечно, уж положись на меня, я сумею поговорить с ним... Не быть же мне безучастной к твоему горю... ведь я, чай, друг тебе...

– Друг, друг, – бросилась снова Катя обнимать Талечку.

– А если друг... то должна...

– Нет, нет... не делай этого... мне страшно...

Наталья Федоровна хотела что-то ответить, но в ее комнату вошла Дарья Алексеевна и позвала молодых девушек пить чай.

Катя за столом сидела положительно как на иголках, она с нетерпением ожидала окончания чаепития, чтобы снова удалиться с Талечкой в ее комнату, но это, по-видимому, не входило совершенно в планы последней и она, к величайшему огорчению Кати, отказавшейся после второй выпитой ею чашки, пила их несколько, и пила, что называется, с прохладцем, не замечая, нечаянно или умышленно, бросаемых на нее подругой красноречивых взглядов.

Вошедший казачок доложил, что прислали за барышней Екатериной Петровной, и та, бросив последний умоляющий взгляд на Наталью Федоровну, стала прощаться.

– Завтра не приходи, а послезавтра я буду у тебя, – успела шепнуть ей последняя, провожая в переднюю.

Катя бросила на нее полунедоумевающий, полуподозрительный взгляд.

– Ради Бога, не делай... – начала было она, но Талечка остановила ее, нежно сказав:

– Так надо!

Подруги расстались.

XII

Без подруги

Не дешево досталось Наталье Федоровне ее наружное спокойствие во время чая.

По уходе подруги она поспешила проститься с отцом и матерью и ушла в свою комнату.

На ее уход не было со стороны родителей обращено особенного внимания, так как был уже десятый час вечера, в доме же ложились рано.

Скоро и остальные обитатели коричневого домика отошли на покой и заснули сном праведных.

Не спала эту ночь одна Талечка.

Разговор с Бахметьевой не на шутку взволновал ее, хотя она постаралась не показать ей этого, что ей, как мы видели, и удалось совершенно.

Талечка боялась, чтобы ее волнение не было истолковано подругой в смысле, могущем усилить ее сердечную боль.

Наталья Федоровна сама не понимала причину охватившего ее волнения, которое, когда она осталась одна, разделась и бросилась в постель, стараясь уснуть, не только не уменьшалось, но все более и более росло, угрожая принять прямо болезненные размеры. Голова ее горела, кровь прилиwała к сердцу, и мысли одна несуразнее другой проносились в ее, казалось ей, клопочущем мозгу.

Она была близка к бреду.

«Что такое? Что со мной делается?» – мысленно задавала она себе вопросы, но вопросы эти оставались открытыми.

Казалось, совершенно незнакомые ей доселе ощущения грозной волной окружали ее, она старалась отогнать их, но они вновь бросались на нее нравственным шквалом.

«Катя любит его... худеет, страдает, так вот что значит эта любовь... грешная, земная!.. Небесная любовь к человечеству, любовь, ведущая к самоотречению, не имеет своим следствием страдания, она, напротив, ведет к блаженству, она сама – блаженство! А он? Он, она говорит, не любит ее... он любит меня... она уверяет, что это правда... А я?»

Довольно уклончиво ответив на этот вопрос Бахметьевой, Талечка сама себе ответить решительно не могла.

Это доставляло ей необычайное страдание.

«Я солгала, я солгала Кате, сказав, что не люблю его, – в ужасе вскакивала она с постели. – Я... я... тоже люблю... Теперь я понимаю это! Она, она сама растолковала мне... Но он? Он – Катя преувеличивает – он не думает любить меня...»

Она начинала припоминать во всех мельчайших подробностях его слова, его взгляды, и все, что до сих пор оставалось ею незамеченным, непонятым, становилось для нее совершенно ясным, било в глаза своею рельефностью. Она перешла к анализу своего собственного отношения к Николаю Павловичу: она с некоторых пор с особенным удовольствием стала встречать его, дни, когда он не приходил, казались ей как-то длиннее, скучнее, однообразнее, ей нравился его мягкий, звучный голос, она с особым вниманием прислушивалась к чтению им ею уже несколько раз прочитанных книг, к рассказам из его жизни, из его службы, – все, что касалось его, живо интересовало ее.

С ужасом она мысленно говорила себе: «Да, я люблю его и он... он тоже любит меня!»

Последняя уверенность в особенности казалась ей роковой: отказаться от любви неразделенной она еще чувствовала в себе силы, но если эта любовь пламенно разделяется... Что тогда? Искус становился громадным, почти неодолимым. Но, быть может, Катя и я ошибаемся? Дай Бог, чтобы мы ошибались!

Она мысленно снова шаг за шагом во всех деталях стала припоминать его взгляды, слова, даже жесты, и порой ей казалось, что все это весьма обыкновенно, ничего не доказывает, порой же во всем этом она видела ясно и непреложно его любовь к ней.

– Это пустяки, ничего не значит! – восклицала она, и тотчас это восклицание сменялось другим: – Нет, он любит, это несомненно, Катя права, тысячу раз права!

Ей было больно, невыносимо больно от этой уверенности, но вместе с тем эту боль она не променяла бы на исцеление, если бы последним было ясное доказательство равнодушия к ней Зарудина.

Она не хотела, она боялась самой себе сознаться в этом, но это было так.

Поняв, так внезапно поняв то чувство любви к одному человеку, к постороннему мужчине, то греховное чувство, то главное звено цепи, приковывающей к дьяволу, как называла это чувство старушка Дюран, Талечка – странное дело – первый раз в жизни не согласилась с покойной.

В эту нервную бессонную ночь в беседе со своим собственным сердцем она додумалась до совершенно иного.

«Конечно, – думала она, – любить как Катя, до самозабвения, до отчаяния – грех, это значит „творить себе кумира“. Это значит, своему личному, себялюбивому чувству приносить в жертву любовь к человечеству, это значит забыть обо всех, кроме своего собственного „я“ и его – этого другого „я“. Я была права, сказав ей, что так как она я не люблю его! Но любить человека, не забывая о своих обязанностях к ближним, идти с ним рука об руку по тернистому пути, принося пользу окружающим, пожертвовать собою и даже им для общего дела – что может быть чище этой любви? Что может быть выше этой жертвы? Такая любовь не преступление, такая любовь и освящается христианским таинством брака. „Тайна сия велика есть, я же глаголю во Христа и во церковь“, – припомнились ей слова апостола. – Значит, такая любовь не противоречит идеи церкви, то есть обществу верующих, готовых положить жизнь свою друг за друга».

Талечка почувствовала, что так она может любить, что именно так она любит Николая Павловича.

А между тем, ей предстоит отказаться от этой любви. Она не смеет, она не должна любить его. Его любит другая, и эта другая – ее подруга, которой она же обещала помочь. Она обязана говорить с ним и говорить не за себя, а за другую, за Катю...

Наталья Федоровна вспомнила тот недоверчивый, подозрительный взгляд, который бросила на нее последняя при прощании.

«Она не поверила мне, несмотря на то, что я поклялась ей, она чутьем ранее меня догадалась о чувстве, которого я сама еще не сознавала, на сознание о котором она же натолкнула меня... Хорошо еще, что это пришло позднее, иначе я не дала бы клятвы и еще больше укрепила бы в ней подозрение, которое еще сильнее заставило бы ее страдать. Бедная, бедная Катя, она доверилась мне, как другу, инстинктивно подозревая и боясь встретить соперницу, да еще соперницу счастливую, как уверяет она, и на самом деле встретила... Я не стану на ее дороге, я не буду ее соперницей, хотя бы мне пришлось принести в жертву свою и даже его жизнь».

«Счастливая соперница, – пронеслось в ее голове. – Его жизнь... Что если Катя не ошибается и он меня... любит. Дай Бог, чтобы она ошибалась!»

«Но если и да... если и любит... Пусть! Я не смею и не должна любить его, его любит другая, его любит Катя...»

«Завидная участь, вместо одной несчастной, будет трое, – продолжал смущать ее бес – в том, что это бес, Талечка не сомневалась. – За что ты разобьешь его жизнь?»

– Я должна, должна... – вслух вскрикнула Талечка, вскочила с постели и бросилась на колени перед образом.

В этом крике, вырвавшемся, видимо, против ее воли, слышалась нестерпимая душевная боль.

Наталья Федоровна почувствовала близкую победу над ней «смутителя беса» и в горячей молитве думала сыскать в себе силу и подкрепление в этой неравной борьбе.

Она и не ошиблась.

Кроткий лик Богоматери, освещенный полусветом лампы, отражавшемся в кованой серебряной ризе, глядел из угла комнаты на молящуюся девушку.

Из глубоких, как тихое море, очей непорочной и присно-блаженной Девы, казалось, изливалось такое же море благодати и небесного спокойствия.

Это спокойствие сообщилось коленопреклоненной Талечке, и она, после короткой, но искренней молитвы, хотя и со слезами на глазах, но с каким-то миром в душе вернулась на свою кровать.

«Будь, что будет, – решила она, – чего я так волновалась, еще ничего не зная, быть может, он и не думает обо мне, может быть, все это только представилось ревливой Кате, а я глупо поверила ей и вообразила себе Бог знает что... Мне завтра надо будет улучшить свободную минуту и переговорить с ним... Любит ли он меня или нет, я должна помочь Кате в ее беде, я обещала ей и сделаю, я выскажу ему, что заставлять страдать ее, такую хорошую, добрую – грех, что он может убить ее своим невниманием, быть может, умышленным; я читала, что мужчины практикуют такого рода кокетство, он должен узнать ее, понять ее и тогда он оценит и ее, и ее чувство к нему...»

«А если он не в силах будет отказаться от любви к тебе?» – вновь ворвалась в ее голову жгучая мысль.

Она вздрогнула, но осилила себя.

«Он должен отказаться от этой любви, ведь я же отказываюсь от своей, чтобы спасти Катю. Он тоже должен спасти ее, хотя бы во имя любви ко... мне».

Она заставляла себя так думать, потому что надеялась, что и она, и Катя ошибаются в этой предполагаемой его любви к ней, к Талечке.

Над всеми этими благоразумными, самоотверженными мыслями господствовала, таким образом, иная мысль и эта мысль была: «Дай Бог, чтобы мы ошибались!»

Она стала думать, как будет она счастлива, когда после разговора с ним сообщит Кате, что он далеко не равнодушен к ней, что он только не знал ее чувств к нему, а потому и свои чувства скрывал, боясь оскорбить ее их малейшим проявлением, что к ней, к Талечке, он ничего не чувствует, кроме дружбы, братской привязанности, что избранница его – Катя, которую он готов хоть завтра вести к алтарю и назвать своею перед Богом и людьми.

«Какое это будет для нее счастье, как горячо она будет благодарить меня, она совсем переродится и опять будет прежняя веселая хохотушка, с глубокими ямочками на ярко-розовых, пухленьких щечках!»

Апрельское утро уже врывалось в завешанные окна комнаты Талечки, и лучи солнца пробивались в края штор, освещая забывшуюся с этими мыслями тревожным сном молодую девушку...

XIII

Не у дел

Павел Кириллович Зарудин, бывший незадолго перед тем последовательно губернатором двух губерний, был в описываемое нами время, что называется, не у дел.

Это был высокий, худощавый старик, с гладко выбритым выразительным лицом и начесанными на виски редкими седыми волосами. Только взгляд его узко разрезанных глаз производил неприятное впечатление своею тусклостью и неопределенностью выражения. Если справедливо, что глаза есть зеркало души, то в глазах Павла Кирилловича ее не было видно. Вообще это был человек, который даже для близких к нему людей, не исключая и его единственного сына, всегда оставался загадкой.

Последний, живой портрет своей покойной матери, не имел с ним ни малейшего сходства, кроме разве роста и осанки. В его красивом и открытом лице матовой белизны, с большими умными карими глазами, тонким, совершенно правильным носом никто бы не нашел ни единой родственной черты с лицом старика-отца.

В молодости, кроме того, Павел Кириллович был сильный брюнет, Николай же Павлович, как и его мать, – темный шатен.

За последнее время старик Зарудин, хотя все еще держался молодцом, сравнительно, осунулся и одряхлел: вынесенные им служебные неприятности, неожиданная отставка, наложили свою печать на этого привыкшего к власти человека.

Любимым «коньком» его разговора была именно эта отставка, это нахождение его «не у дел».

Все посещавшие его близкие приятели, просто знакомые и даже люди, видевшие его раз или два, непременно знали происшедший с ним «казус», как он называл испытанную им роковую для его дальнейшей карьеры служебную неприятность.

Причиною всех причин был, по его мнению, граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Старик доказывал это с пеной у рта и с неопровержимыми, как ему, по крайней мере, казалось, документами в руках.

– Доконал меня этот бес, лести преданный, – начинал он обыкновенно свой рассказ, повторяя искажение девиза графа Аракчеева: «без лести преданный», – девиза, прибавленного самим императором Павлом Петровичем, в представленном ему проекте герба возведенного им в редкое в России баронское достоинство Аракчеева. Это искажение было придумано неизвестным остряком и переходило из уст в уста среди врагов Аракчеева.

Таких врагов было немало.

Все знакомые Павла Кирилловича принадлежали к ним.

Далее из рассказа старика Зарудина оказывалось, что в районе той губернии, где он начальствовал за последнее время, находилось имение графа Аракчеева. Земская полиция приходила часто в столкновение с сельскими властями, поставленными самим графом и отличавшимися, по словам Павла Кирилловича, необычайным своеволием, так как при заступничестве своего сильного барина они рассчитывали на полную безнаказанность. Некоторые из столкновений дошли до сведения графа и последний написал к Зарудину письмо.

С этими словами Павел Кириллович обыкновенно отправлялся в свою шифоньерку красного дерева, стоявшую в углу его кабинета, и доставал из нее прошнурованную и запечатую тетрадь, заключающую в себе письма к нему графа Аракчеева и копии с ответов последнему. На обложке тетради крупным старческим почерком было написано: «Правда о моей отставке».

Зарудин начинал читать эти письма. В первом письме граф Алексей Андреевич писал следующее:

«Ваше превосходительство, Павел Кириллович!

Я полагаю, что неприятности по делам моего имения происходят оттого, что мы имеем с вами сношение через посредников, и потому, во избежание сего, я прошу ваше превосходительство, во всех делах касательно до села моего, относиться прямо ко мне, а я уже со своей стороны буду брать свои меры. Почему я и предписал моему бурмистру ожидать моих приказаний и не обращать внимания на требование земской полиции. Надеюсь, что ваше превосходительство не откажет мне в сем одолжении».

– Как вам это нравится? – задавал Зарудин обыкновенно вопрос своему собеседнику после прочтения этого письма и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Ну уж и ответил я ему – чай, глаза у него перекосило, как читал он мое письмо. Слушайте! Павел Кириллович начал читать свой резкий ответ: «В губернии моей до 500 помещиков, и ежели я исполню желание вашего сиятельства и войду с вами в особую переписку по делам вашего имения, то я не вправе буду отказать в оном последнему из дворян и не буду иметь времени на управление губернией. А потому прошу ваше сиятельство переменить распоряжение ваше и предписать бурмистру вашему исполнять строго все предписания земской полиции, ибо, в противном случае, я буду вынужден потребовать его в город и публично наказать плетью».

– Не утерпел я, сударь мой, получив от графа письмо и послав ответ, не рассказать о сем в собрании дворян. Нашлась среди них «переметная сума» – предводитель, сообщил о рассказе моему графу, да еще с прикрасами. Получаю я недельки через две обратно мое письмо и записку графа. Пишет он мне, да вот послушайте-ка, что он пишет:

«В письме вашего превосходительства вы употребили не то выражение, которое сказано вами при собрании дворян, а именно: ежели мне начать переписываться с графом, то придется вступить в переписку и с последним капралом. А потому обращая к вам оное, прошу поправить сделанную вами ошибку».

– Не оставил я и этого письма, сударь вы мой, без надлежащего ответа. Слушайте!.. Зарудин снова начинал читать:

«Бесчестно и подло передавать из дома в дом вести – и еще бесчестнее и подлее передавать их с прибавлениями. Я не отпираюсь от слов моих и смысл их остается все тот же, кроме слова „капрал“, вместо которого я употребил „последний дворянин“, а потому написанное мною к вам письмо возвращаю без поправки. После сих объяснений я уверен, что приобрел в вас злейшего врага.

Ваше сиятельство – вельможа, много значите при дворе, можете сделать мне вред, и, зная ваш характер, я уверен, что не упустите первого случая, чтобы оказать мне оный; но знайте, что я более дорожу своею честью, нежели своим местом, и держусь русской пословицы: „хоть гол, да прав“».

Окончив чтение этого письма, Павел Кириллович обыкновенно с торжествующим видом взглядывал на своего собеседника, вставал со своего вольтеровского кресла и, бережно уложив в шифоньерку бумаги, возвращался на место и некоторое время молчал, выжидая вопроса.

– Я, конечно, не ошибся, – начинал он, когда собеседник выражал желание слышать окончание «казуса», – месяца три прошло с отправки последнего письма, все шло по-преж-

нему, вдруг наехала ревизия, стала всюду шарить да нюхать, да ничего не пришлось найти, машина у меня по управлению шла как по маслу, без сучка и задоринки. Нейметса ревизорам, отписали в Петербург, что-де я препятствую открыть злоупотребления, вызвали меня в столицу, месяца два продержали, но и без меня ни до чего не доискались, так и бросили, донесли, что все-де обстоит благополучно. Не понравилось это сильно всемогущему графу, прислал он ко мне в губернию переодетых полицейских, начали они шмыгать в народе, отыскивать недовольных мною, да нарвались на моего полицеймейстера – молодец был Петр Петрович – он их арестовал, да заковав в кандалы, представил ко мне; тут-то все и объяснилось; оказалось, что они питерские полицейские крючки... Сделал я вид, что не поверил им, чтобы вельможа, граф, дал им такое грязное поручение и высыпал обоим горячих да этапным порядком и препроводил к их непосредственному начальству.

– Дела! – разводил руками слушатель. – Верить не хочется, чтобы такой низкой души человек на такую высоту взобрался, и ангел-то наш государь другом его считает.

– Э, батюшка, и на престоле цари – те же люди, от сетей дьявола и они подчас ограждены не бывают, а этот Аракчей-то... одно слово «бес, лести преданный», – желчно выражал свое мнение Зарудин.

– Так-то оно так, а все... странно! – заявлял подчас собеседник, не принадлежавший уже совершенно к ненавидящим Аракчеева.

– Ничего тут нет странного, – раздражался Павел Кириллович, – вы этого дуболома-то нашего не знаете, ведь это сатана во плоти, Вельзевул... самому, кажись, Архангелу туману в глаза напустит... Что же тут странного.

– Ну, а ваше-то дело чем кончилось? – переменял разговор собеседник, чтобы не раздражать долее хозяина.

– Тем и кончилось, – отрывисто отвечал тот, – что видите... Через месяц так в ночь прибыл из Петербурга курьер и привез Высочайший приказ об увольнении меня от службы, с приказанием немедленно сдать все дела вице-губернатору. В один день сдал я всю губернию и все суммы и донес государю, думал, хоть этим снискать себе милость, не тут-то было, обошел его бес, нашептал на меня, как слышно, турусы на колесах: и пьяница я, и взяточник. Представиться хотел я государю, не допустили. Вот и сижу здесь в каморке моей и жду у моря погоды. И руки есть у меня сильные, да против Аракчеева, как против рожна, нечего прати... Наказал им Бог и царя, и Россию.

Так обыкновенно оканчивал свое повествование «о казусе» опальный губернатор.

Насколько было правды в его словах – неизвестно. Люди антиаракчеевской партии условно верили ему и даже варьировали его рассказ далеко не в пользу всесильного, а потому ненавистного им графа. Другие же говорили иное, и, по их словам, граф в Зарудине только преследовал нарушения принципа бескорыстного и честного служения Царю и Отечеству, а личное столкновение с Павлом Кирилловичем не играло в отставке последнего никакой существенной роли.

Правота последних подтверждается отчасти дальнейшею судьбою Павла Кирилловича, но... не будем опережать событий.

Другую излюбленную темой разговора Павла Кирилловича была недостаточность средств к жизни, хотя с имений своих он получал большой для того времени доход в шесть тысяч рублей, да кроме того, как утверждали хорошо знающие его люди, имел изрядный капитал. Каморка его, как он называл свою квартиру, была далеко не мала и не дурна. Деревянный, двухэтажный дом выходил фасадом на Гагаринскую набережную. Квартира Зарудина, в которой он жил вместе с сыном, находилась на втором этаже и состояла из шести комнат, не считая прихожей; три из них, залу, кабинет и спальню, занимал старик, а остальные три сын, у которого была своя гостиная, кабинет и спальня. Расположение квартиры было таково, что половины отца и сына были почти совершенно отделены.

Николай Павлович, имевший независимое от отца, доставшееся ему от покойной матери, довольно большое состояние, платил половину квартирной платы, а также вносил свою половину и для хозяйственных расходов.

Небольшой по тому времени штат прислуги, состоявший из десяти человек, исключительно мужчин, кроме одной прачки, был, конечно, из крепостных отца и сына.

Меблировка квартиры, особенно на половине Николая Павловича, отличалась солидным комфортом и даже роскошью.

Все в ней дышало довольством, и жалобы старика Зарудина на то, что ему нечем жить, звучали в этих стенах каким-то особенным диссонансом, да они и не были искренни, а составляли только подходящую тему для старческого брюзжания сановника, находящегося не у дел.

Таков был отец Николая Павловича, приятель старика Хомутова – Павел Кириллович Зарудин.

XIV

Кавказский капитан

В тот вечер, когда в кабинете старика Хомутова последний беседовал со своею женою, а в спальне Талечки Катя Бахметьева с рыданиями открывала подруге свое наболевшее сердце, оба хозяина квартиры на Гагаринской набережной, отец и сын Зарудины, были дома.

Павел Кириллович мелкими нервными шагами ходил по ковру своего кабинета, то и дело поглядывая на большие часы, заключенные в огромный футляр-шкаф красного дерева.

– Угостил его, видно, сиятельный граф на славу, вместо обеда-то не отправил ли за реку... – с беспокойством ворчал Зарудин.

Читатель, конечно, понимает, что под сиятельным графом он подразумевал Аракчеева; что же касается выражения «за реку», то под этим термином подразумевалась Петропавловская крепость, куда зачастую, как, по крайней мере, уверяли враги графа, Алексей Андреевич отправлял тех или других провинившихся перед ним офицеров.

В настоящее время Павел Кириллович боялся, как бы такая участь не постигла сына его старого, года с три как умершего, приятеля Петра Ивановича Костылева.

Сын Петра Ивановича, Иван Петрович, служил капитаном в одном из артиллерийских полков, расположенных на Кавказе. Это был человек лет под сорок, давно уже тянувший служебную лямку, но, несмотря на свою долголетнюю службу, на раны и на все оказываемые им отличия, не получал никаких наград и все оставался в чине капитана; сколько его начальство ни представляло к наградам, ничего не выходило; через все инстанции представления проходили благополучно, но как до Петербурга дойдут, так без всяких последствий и застрянут.

Наконец, капитана это вывело из терпения и он решился ехать в Петербург к Аракчеву и, несмотря на весь ужас, им внушаемый, – вести о его строгости, с чисто восточными прикрасами, достигали далеких кавказских гор, – объяснить с ним и спросить, за что он его преследует, так как капитан почему-то был убежден, что все невзгоды на него нисходят от Аракчеева.

Сказано – сделано; взял капитан отпуск и уехал; но так как в то время пути сообщения были не теперешние и так как капитан по кавказской привычке любил хорошенько выпить, то ехал он довольно долго с остановками и отдыхами. Наконец, недалеко уже от Петербурга, в Новгородской губернии, остановился он ночевать на одной станции, велел подать самовар и стал попивать пуншик. В это время проезжал Аракчеев в дорожном платье, без эполет, заглянул к капитану в комнату и назад, но капитан, по кавказскому гостеприимству, крикнул Аракчеву:

– Чего заглядываешь, заходи обогреться пуншиком!

Вследствие такого бесцеремонного приглашения, Аракчеев, будучи и сам артиллеристом, заинтересовался личностью капитана, вошел к нему, подсел к столику и у них завязалась оживленная беседа. На вопрос графа, зачем капитан едет в Петербург, тот, не подозревая, что видит перед собою Аракчеева, брякнул, что едет объяснить с таким-сяким Аракчевым и спросить, за что он, растакой-то сын, преследует его, причем рассказал все свое горе.

Аракчеев заметил, что он, капитан, вероятно, не знает, как силен и строг Аракчеев, а потому, как бы ему, капитану, не досталось от графа еще хуже; но Иван Петрович, будучи под влиянием винных паров, ответил, что не боится ничего и лишь бы только увидеть ему Аракчеева, а уж тогда он ему выскажет все.

Затем Аракчеев уехал, приказав на станции не говорить капитану, с кем он беседовал; с последним же он простился по-приятельски, посоветовал, чтобы он, по приезде в Петер-

бург, шел прямо к графу Аракчееву, которого уже он предупредит об этом через своего хорошего знакомого, графского камердинера, и постарается замолвить через того же камердинера в пользу его перед графом словцо.

Приехал Иван Петрович в Петербург, облекся в полную форму и отправился к Аракчееву. Доложили о нем графу, ввели в приемную, граф вышел и, о ужас, капитан в Аракчееве узнал своего станционного приятеля, при котором он так бесцеремонно отзывался об Аракчееве. Но граф принял его очень ласково, сам сознал свою вину перед ним, обещал возвратить все им потерянное и пригласил к себе на другой день на обед, но непременно в сюртуке. Иван Петрович Костылев все это рассказал Павлу Кирилловичу Зарудину, с которым, чтя память покойного отца, был хотя и в редкой переписке, но по приезде в Петербург после визита к Аракчееву не преминул явиться к другу своего отца. Павел Кириллович не видал его более десяти лет.

– Ласково, говоришь, принял?.. Наобещал кучу милостей?.. – переспросил его старик, выслушав от него вышеприведенный рассказ.

– Уж на что ласковее, просто можно сказать по-приятельски... не начальник он, золото...

– Не верь... – не дал договорить ему Зарудин.

Костылев вытаращил глаза.

– То есть как не верить, это его-то сиятельству?..

– Его-то сиятельству, – передразнил Павел Кириллович, – и не верь: мягко стелет, жестко спать...

Капитан, нервы которого были с утра напряжены, побледнел.

– Что вы говорите, ваше превосходительство? – начал он упавшим голосом.

– Дело, вот что говорю, дело... Я вот тебе о себе расскажу, какие он со мной штуки подстроил.

Павел Кириллович направился к шифоньерке. Капитан, сидя на стуле против хозяйского вольтеровского кресла, опустил голову.

– Не может быть, – вдруг заявил он, – резоны он мне представил, почему относительно меня такой «казус» вышел: однофамилец и даже соименник со мной есть у нас в бригаде, тезка во всех статьях и тоже капитан, и сам я слышал о нем, да и его сиятельство подтвердил, такой, скажу вам, ваше превосходительство, перец, пролаз, взяточник... за него меня его сиятельство считали, а того, действительно, не токмо к наградам представить, повесить мало...

Павел Кириллович уже вложил ключ в ящик шифоньерки, как вдруг вынул ключ и возвратился в кресло.

– Взятчик, пролаз... Все у него взяточники да пролазы, ишь какой указчик объявился, почему это до него на Руси матушке взяточников не было, многие, кого он взяточниками обзывает, при Великой Екатерине службу несли. А почему тогда взяточников не было? Почему?

Он даже нагнулся к капитану.

– То есть, как не было, ваше превосходительство, чай, и тогда бывали... только надзора строгого не было... – осмелился возразить капитан.

– Надзоров не было... – передразнил его Зарудин. – Молод ты еще о старших так рассуждать... зелен ум у тебя, вот что... – рассердился Павел Кириллович.

Иван Петрович промолчал.

– Пойди, пойди пообедать к твоему надзирателю излюбленному, угостит он тебя обедом... угостит... поперек горла встанет и не проглотить. Бывали примеры, что люди после таких обедов и кочурились...

Костылев снова не на шутку перепугался. Раздраженный Павел Кириллович постарался усилить это впечатление испуга храброго кавказца, рассказывая все ходившие в среде враждебной ему партии небылицы о бесчеловечности и зверстве всемогущего графа.

Капитан ушел почти убежденный, что ему вместо обеда предстоит назавтра гнусная ловушка, а затем жестокая казнь.

– Ты завтра заходи после обеда-то у твоего благодетеля, коли жив, да на свободе останешься, – преподнес ему на прощание Зарудин.

XV

Быстрое повышение

На другой день, впрочем, раздражение Павла Кирилловича против капитана прошло и он сам, как мы видели, стал тревожиться, как бы не исполнились над сыном его покойного друга вчерашние предсказания.

Сыну, не бывшему накануне дома, он сообщил случай с капитаном, но не рассказал высказанных последнему своих соображений: он сына своего считал тоже аракчеевцем, так как тот не раз выражал при нем мнения, что много на графа плетут и вздорного.

Павел Кириллович сперва за это на него очень сердился, а затем махнул рукою и отводил душу, беседуя об Аракчееве с другими и то не в присутствии сына.

– Убей меня Бог, коли я не прав, за реку отправил молодца изверг, – продолжал разговаривать сам с собою Зарудин. – Время-то вон уже какое позднее...

Часы показывали седьмой час в исходе. В передней раздался звонок.

– Неужели он? Нет, голову прозакладываю, что не он, за рекой он уже теперь, чай, в каземате думку думает, – упрямо проворчал старик.

Дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился весь сияющий, видимо, от счастья, Иван Петрович Костылев. На груди его сюртука блестели два новеньких ордена. Павел Кириллович был совершенно озадачен таким торжественным появлением предполагаемой им жертвы аракчеевского деспотизма, и тревога за судьбу капитана быстро сменилась раздражением против него.

– Кажись, и сыт, и пьян, пане капитане! – иронически обратился он к нему.

– Не капитан, ваше превосходительство, а полковник и кавалер Георгия и Станислава. Иван Петрович указал на новенькие ордена.

– Это как же так, расскажи! – растерянно произнес не ожидавший такого оборота дела Зарудин.

– Напугали вы меня, ваше превосходительство, понапрасну только, снова повторю: не начальник граф Алексей Андреевич, а золото для помнящих присягу служаек, сказочно, можно сказать, случилось это, все повышения и ордена за обедом в какой-нибудь час времени получил... – залпом выпалил Костылев.

– Да ты расскажи толком.

Иван Петрович передал, что пришел он на обед, после на сказанных ему Павлом Кирилловичем страстей, ни жив, ни мертв, застал общество в мундирах и звездах; все с недоумением смотрели на него, бывшего, по приказанию графа, в сюртуке. Но каково же его и всех остальных было удивление, когда Аракчеев, представляя его, назвал своим приятелем. Когда подали шампанское, граф рассказал, как, по его ошибке, капитан был обходим множеством раз разными чинами и наградами, и что он желает теперь поправить сделанное капитану зло, а потому предлагает тост за здоровье подполковника Костылева; далее, говоря, что тогда-то капитан был представлен к награде, пьет за полковника Костылева, затем за кавалера такого-то и такого-то ордена, причем и самые ордена были поданы и, таким образом, тосты продолжались до тех пор, пока он, капитан, не получил все то, что имели его сверстники.

– Век не забуду его сиятельства, в поминание запишу за здоровье, детям и внукам закажу молиться за него, – закончил с восторгом Иван Петрович.

Зарудин слушал и хмурился.

– В добрый час ты попал, таких часов у него раз, чай, лет в десять бывает... рад за тебя, рад, хотя многих людей знаю, которые фаворитами его быть за бесчестие почитают и по-моему правильно.

– Нет, ваше превосходительство, этого не говорите, – расхрабрился новоиспеченный полковник, – какой уж тут правильно. Всем известно, что граф Алексей Андреевич царскою милостью не в пример взыскан, а ведь того не по заслугам быть бы не могло, значит, есть за что, коли батюшка государь его другом и правою рукой считает, и не от себя он милости и награды раздает, от государева имени... Не он жалует, а государь...

– А знаешь пословицу «жалует царь, да не жалует псарь»?

– И пословица эта, вы меня простите, ваше превосходительство, тут ни к чему, и смысла применения оной понять не осмеливаюсь.

– И не осмеливайся... и благо тебе, а за тебя я рад, одно скажу, рад, покойного отца твоего любил, – счел за нужное переменить разговор Зарудин.

Разговор перешел на воспоминания и, наконец, полковник Костылев откланялся Зарудину, объявив, что завтра же уезжает к месту своего служения.

– И его сиятельство сей мой прожект одобрил: «Нечего, говорит, тебе здесь зря болтаться, еще испортишься».

– Ну, прощай, поезжай с Богом, дай тебе Господь куль червонцев и генеральский чин! – пошутил Павел Кириллович.

О своей отставке он так и не рассказал Костылеву.

XVI

Фон Зееман

По уходе Костылева старик Зарудин еще долго в раздумьи ходил по кабинету и, наконец, отправился на половину своего сына, у которого в тот вечер собралось несколько его товарищей.

В кабинете Николай Павловича шла оживленная беседа. Дым от трубок наполнял обширную, с комфортом меблированную комнату и запах табака смешивался с запахом истребляемого стакан за стаканом крепкого пунша.

Кроме хозяина, в комнате находились три офицера и молоденький юнкер. Старший из них был капитан гвардии Андрей Павлович Кудрин, выразительный брюнет с неправильными, но симпатичными чертами изрытого оспой лица – ему было лет за тридцать; на его толстых, чувственных губах играла постоянно такая добродушная улыбка, что заставляла забывать уродливость искаженного оспинами носа, и как бы освещала все его некрасивое, но энергичное лицо. Храбрый до отваги, добрый, но справедливо строгий, он был кумиром солдат и любимец той части своих товарищей, которые искали в человеке не внешность, а душу.

К последним принадлежал и Николай Павлович Зарудин и был всем сердцем привязан к Андрею Павловичу. Их даже в полку в насмешку прозвали *inseparables*. Не было у них друг от друга тайн, они жили, что называется, душа в душу.

Два других офицера были поручики Смельский и Караваев, приятели и однополчане Зарудина, с которыми свели последнего общность взглядов, общая наклонность к размышлению, отвращение к переходящим меру кутежам и дебошам, и пожалуй, общее подозрительное отношение к ним начальства. По внешности это были белокурые, бесцветные офицеры, физиономии которых по этой причине не стоят описания. Художник не поместил бы их на батальной картине, а плохой портретист сделал бы с них весьма схожий портрет – так они были шаблонны.

На последнем госте Николая Павловича молоденьком юнкере – Антоне Антоновиче фон Зеемане мы остановим на более продолжительное время внимание читателя, так как этому молодому человеку придется играть довольно значительную роль в нашем правдивом рассказе.

Потеряв не так давно свою мать, оставившую ему, как единственному сыну, – отца он лишился ранее, – хорошее независимое состояние, он выхлопотал себе перевод в тот гвардейский полк, где служили Николай Павлович и Кудрин, и сразу почувствовал к ним род немого обожания. Это не укрылось от «предметов его восторженного поклонения» и последнее, увидав в нем доброго, отзывчивого на все хорошее юношу и, вместе с тем, хорошего служаку, стали с ним в товарищеские отношения, вследствие чего Антон Антонович почувствовал себя на седьмом небе.

Не проходило дня, чтобы он не являлся то к Зарудину, то к Кудрину, внимательно прислушивался к их беседам, скромно вставлял иногда словечко или рассказывал им что-нибудь о себе.

Он начал свою службу в артиллерии, а домашнее воспитание получил за границей, где его мать безвыездно проживала.

Когда ему минуло шестнадцать лет, она отправила его в Петербург к своему троюродному племяннику, Петру Андреевичу Клейнмихелю, любимцу и крестнику графа Аракчеева. Маменькин сыночек попал сразу в суровую школу последнего, и хотя она принесла ему пользу, выработав из него образцового служаку, но оставила в его душе такую горечь, что он возненавидел и Клейнмихеля, и Аракчеева. Открыто идти против его «благодетелей», как

его мать называла обоих в письмах к сыну, он при жизни старушки не мог и помышлять, и более двух лет протянул на этой «каторге», как он называл службу в артиллерии.

Смерть матери только отчасти развязала ему руки, так как без разрешения всесильного Аракчеева перевестись в «шаркуны», как последний называл гвардейцев, было невозможно.

Тогда Антон Антонович, смилив свою гордость, чуть не со слезами на глазах, стал умолять Клейнмихеля добыть ему это разрешение у графа, мотивируя свою просьбу неподготовленностью его к службе в артиллерии, для которой все-таки необходимы некоторые специальные знания, и даже прямо неспособностью к этой службе, неспособностью, могущею повлиять на всю его военную карьеру. Петр Андреевич внял этой просьбе и выхлопотал разрешение графа. Пылкий и впечатлительный капитан Кудрин всецело разделял эту ненависть, питаемую фон Зеemanом к «самодуру» и «дуболому», как обзывали они оба графа Алексея Андреевича, и лишь молодой Зарудин в этом не сходиллся со своими друзьями и был, как мы знаем, против бывшего тогда в ходу огульного обвинения графа Аракчеева.

Зато старик Зарудин именно за это отношение капитана и юнкера к графу особенно полюбил их, и зачастую, когда Николая Павловича не было дома, они оба забирались в кабинет к старику и тогда уже должно было икаться графу Алексею Андреевичу.

Фон Зеeman обладал мимическим и актерским талантом и очень удачно копировал графа, заставляя своих собеседников хохотать до слез. В особенности забавлял старика Зарудина рассказ фон Зеemана, как он, уже переведенный в гвардию, был приглашен, по ходатайству Клейнмихеля, думавшего, что он оказывает этим своему родственнику особую честь, на бал к графу.

– Я явился в рукавицах, – рассказывал Антон Антонович. – Увидел меня Петр Андреевич, подходит ко мне весь бледный. «Ты забыл, мальчишка, у кого ты, пошли сейчас ко мне за моими перчатками и надень». «Не имею на это права, как нижний чин, а перчатки у меня за рукавом», – отвечаю я ему. «Надевай!» – Я надел, повел он меня к графу и представил. «Очень рад», – прогнусил тот. Так как солдат кланяться не смеет, то я вместо поклонов шаркал и стучал каблуками. Стал бродить я по комнатам, скука смертная! Вдруг снова передо мной как из земли вырос граф: «Да что же ты не танцуешь?» Подлетел я, не помня себя, к какой-то даме: «Если вы не желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной», – гляжу, а передо мной мать Петра Андреевича – почтенная старушка. «Ты с ума сошел, я не танцую, пригласи мою племянницу – рядом со мной сидит». Пригласил и затанцевал. Насилу дождался, когда кончился этот бал. А тут еще напасть, Петр Андреевич объявил мне, что назавтра граф приказал привести меня к нему обедать. «Я принесу с собой деревянную ложку, так как нижнему чину не полагается есть серебряной», – стал уверять я ошеломленного новой моей дерзостью Петра Андреевича. Впрочем, на обед я не попал – притворился больным.

Павел Кириллович был всегда после этого рассказа в большом восторге.

– Хорошо, очень хорошо: «если не желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной» и прямо к старухе, – хохотал он, потирая руки.

– Ну-ка, расскажи, Антоша, – называя его ласкательным именем, обращался в веселую минуту к фон Зеemanу Павел Кириллович, – как ты у графа на балу танцевал?

И Антон Антонович чуть ли не в сотый раз начинал повторять свой рассказ.

XVII

Среди молодежи

Собравшиеся в кабинете, как мы уже сказали, оживленно беседовали. Темой этой беседы, даже на половине Николая Павловича, что случалось очень редко, служил тот же граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Молодой Зарудин рассказал слышанное им от отца приключение с капитаном Костылевым.

– Отец его ждет сегодня с обеда, вероятно, не утерпит и зайдет рассказать окончание «казуса».

С этого началось: стали обсуждать поступок графа, его любовь появляться и беседовать инкогнито, припомнили разные случаи из его оригинальной деятельности.

– Самодур, совсем самодур, я недавно слышал, – говорил Кудрин, – армейского полковника одного чуть ли не за три тысячи верст отсюда полк его расположен, вдруг в Петербург вызвал. Приехал бедный тоже ни жив, ни мертв. Кого только здесь ни спрашивал, зачем бы его мог вызвать граф, никто ничего не знает. Наконец, является он пред лицом Аракчеева, а тот его же спрашивает, зачем приехал? «Не могу знать, зачем ваше сиятельство требовали!» – «Я требовал! А, помню, как ваша фамилия?» – «Так-то!» – «Как, как?» – «Так-то, ваше сиятельство» – «А...» Отодвигает Аракчеев ящик стола, достает какую-то бумагу и спрашивает у полковника: «Это ваш рапорт?» – «Мой, ваше сиятельство» – «Так вот видите ли, я никак не мог разобрать вашу фамилию, затем и потребовал вас, пожалуйста, прочтите ее». Полковник прочел. «Теперь можете ехать обратно». Как вам это нравится? – развел в заключение руками Андрей Павлович.

Смельский, Караваев и фон Зеeman расхохотались.

– Чай, рад был, бедняга, что так дешево отделался, – заметил первый.

– И фамилию свою стал писать наизусть... тоже шесть тысяч верст отмахать не шутка, – вставил фон Зеeman.

В это время в кабинет вошел Павел Кириллович. Офицеры поспешили застегнуть сюртуки и почтительно стали здороваться с его превосходительством.

– А ведь Аракчей-то капитана за реку не отправил, великодушного начальника разыграл, в полковники произвел и двумя орденами наградил, – сообщил старик Зарудин и в подробности рассказал все слышанное им от Костылева о сегодняшнем обеде у Аракчеева.

– Иезуит, – произнес Кудрин, – может случиться, что он вернет с дороги этого свежеспеченного полковника, да и отдаст под суд.

– Правда, правда, – ухватился за эту мысль старик Зарудин, хотя и беспокоившийся за Костылева, но все же недовольный в душе, что его предсказания не сбылись. – Ведь это он может сделать, как пить дать, а бедняга так рад, что ног под собою не чувствует.

– Конечно, может.

– Чего он не может, коли всю Россию выкрасить хочет, – вдруг выпалил фон Зеeman, сделавшись смелее в присутствии Павла Кирилловича, в своих нападках на своего бывшего «благодетеля».

– Как выкрасить, Антоша? – возрился на него старик Зарудин, заранее улыбаясь и предвкушая какую-нибудь интересную историю.

– Так, краской выкрасить, в три колера пустить... разве вы не слыхали? Об этом уже в городе толкуют, проект он подает государю, хочет всю матушку Русь в три краски выкрасить: мосты, столбы, заставы, гауптвахты, караульни, даже тумбы и все присутственные места и казенные здания будут по этому проекту под один манер в три колера: белый, красный и черный. Ссылается он, как слышно, на то, что будто бы подобный проект был еще во

времена Екатерины II, но ею не выполнен. А вы говорите, что он чего-нибудь не может; видите, всю империю красить собрался. С него хватит и всех россиян вымазать в три колера, тело зеленым, рожи фиолетовым, а волосы пунцовым. Вот кабы с него начать! – закончил со смехом Антон Антонович.

Павел Кириллович так и покатился со смеху, сидя в кресле.

– Ишь придумал, с него бы начать, тело зеленым, рожу фиолетовым, а волосы пунцовым. Хорош бы был его сиятельство, ха, ха, ха, – заливался старик.

Остальные тоже хохотали от души.

Не смеялся только один Николай Павлович. Он медленно, с трубкой в зубах, ходил по кабинету и, казалось, не слышал даже, что говорили вокруг него. Мысли его на самом деле были далеко, и не трудно догадаться, что это «далеко» было на Васильевском острове. Это стало с ним за последнее время случаться нередко, он сердился на себя, но не мог ничего поделать с собой: обитательница коричневого дома окончательно похитила его сердечный покой. Сегодня ему было легче, он рассказал все своему другу Кудрину и завтра повезет его представить Хомутовым.

«Как-то она ему взглянется. Да разве она может не понравиться?» – бродили в его голове отрывочные мысли.

Взрыв хохота после рассказа фон Зеемана возвратил его к действительности. Он принял участие в дальнейшем разговоре.

Павел Кириллович вскоре ушел, как он выражался, «на боковую». Поднялись и гости.

– Так до завтра, в шесть часов, запросто, в сюртуках, они люди нецеремонные, – сказал Кудрину Николай Павлович, дружески пожимая ему на прощание руку.

– Да, да, у тебя я даже буду в половине шестого.

– Отлично!

XVIII

Записка

На другой день Андрей Павлович Кудрин, верный своему слову, ровно половина шестого вечера был у Николая Павловича Зарудина.

– Аккуратен, как часы, и точен, как весы! – радостным восклицанием встретил его последний, уже совершенно одетый.

– Аккуратность – вежливость царей, – отвечал Кудрин. – Разве мы сейчас? – добавил он, видя, что его приятель стал натягивать перчатки.

– Да, конечно, сейчас же, ведь не на вечер едем, а запросто и останемся недолго. Ты не отпустил извозчика?

– Нет, дожидается.

– Так мы на твоём и поедём.

Молодые люди вышли из дому.

Всю довольно дальнюю дорогу с Гагаринской набережной до 6-й линии Васильевского острова Николай Павлович восторженно описывал Кудрину предмет своего поклонения – Талечку.

– Слышал уже я, слышал, посмотрим, посмотрим, на неё не твоими влюбленными глазами, авось найдем, что не совсем совершенство, – подсмеивался Андрей Павлович над своим приятелем.

– Нет, вот увидишь и сам убедишься, что совершенство.

– Рассказывай там, и на солнце есть пятна. Найду, брат, я их, да ещё пожалуй и тебя разочарую.

– Ну, это едва ли тебе удастся.

– А если так, то чего же ты дремлешь и не женишься? Нашел сокровище и бери, а то как раз из-под носу выхватят.

Николай Павлович побледнел.

– Жениться... знаешь ли, я последнее время думал, но...

Зарудин остановился.

– При чем же тут «но»?

– Я не знаю... любит ли она меня... она ещё совсем ребенок.

– Позволь, какой же это ребенок, когда ты говоришь, что ей восемнадцать лет... значит, совсем невеста.

– Дело не в годах, но это такая воплощенная чистота и невинность, такое нечто не от мира сего, что мне страшно подумать сказать ей наше земное слово любви.

– Смотри, дождешься, что другой скажет.

– Кто же другой, у них никто, кроме меня, не бывает.

– Все до поры до времени.

Извозчик остановился у подъезда дома Хомутовых.

Приезд Кудрина не был для последних неожиданным, так как Николай Павлович давно уже испросил у Федора Николаевича и Дарьи Алексеевны позволение представить своего душевного друга и получил от гостеприимных стариков любезное согласие.

Не знали они только, что это именно случится в такой-то день, но и в этом случае Зарудин именно просил разрешения явиться запросто.

– Это и лучше, – заметил Хомутов, – разносолов мы не делаем, а стакан чаю всегда найдется, и ром авось сыщется.

Появление в их гостиной нового лица вместе с Зарудиным было неприятным сюрпризом только для Талечки. Произошло это не потому, чтобы она не унаследовала от отца с

матерью радушного гостеприимства, но в этот день она желала бы видеть Николая Павловича одного.

Читатель знает, что она решила переговорить с ним о Кате Бахметьевой при первом свидании – приезд Кудрина явился непреодолимым препятствием.

«Мне не удастся с ним побыть наедине ни минуты, не только что переговорить. Боже мой, зачем он его привез именно сегодня! Бедная Катя, что я скажу ей завтра? Объяснить, что так вышло, что он приехал не один. А она там мучается, как мучается. Продолжить еще эту для нее нестерпимую муку неизвестности? Нет, надо что-нибудь придумать!» – мелькали в голове молодой девушки отрывочные мысли.

Они, впрочем, не помешали ей с приветливой улыбкой встретить приехавших, завязать оживленную беседу на отвлеченные темы, выказать свои знания и свою начитанность.

Наталя Федоровна инстинктивно догадалась, что он привез своего друга исключительно для нее, чтобы показать ему ее, похвастаться ею перед ним, а потому она приложила все старания, лишь бы, что называется, не ударить лицом в грязь, а показать себя и оправдать, таким образом, его о ней мнение.

Надо сознаться, что она этого и достигла.

Андрей Павлович был положительно очарован ею. Зарудин, мельком взглядывая на своего друга, был совершенно доволен произведенным на Кудрина Талечкой впечатлением.

Мы говорим «мельком», так как взгляд Николая Павловича, полный восторженного обожания, был все-таки, как всегда, почти неотводно устремлен на молодую девушку.

Наталя Федоровна впервые заметила этот взгляд. В первый момент он явился для нее категоричным подтверждением всего того, что говорила вчера Катя Бахметьева.

Сердце ее упало.

«Он действительно любит меня! – пронеслось в ее голове. – Любит, быть может, как сестру, как друга», – успокаивала она сама себя, стараясь тем заглушить тот вчерашний внутренний голос, упрямо настаивавший на безусловной правоте и прозорливости Бахметьевой.

«Но как же мне быть? Написать ему? Передать записку?»

Эта мысль сначала испугала ее.

«Писать... мужчине».

Она вспомнила m-lle Дюран.

«Но ведь это я не для себя. Ведь это не любовная записка, не любовное свидание», – возражала она мысленно сама себе, продолжая, между тем, поддерживать общий разговор.

Она встретила снова с взглядом Зарудина.

«А если это не дружба и не братская любовь, а настоящая, если Катя права? Тем более мне надо скорее с ним переговорить, предупредить его, что его любит другая, что я, я... не могу... не имею права любить его, что он должен любить не меня, а ее, Катю», – неслось далее в голове молодой девушки.

«Может быть, еще не поздно. Он, может, разлюбит меня и полюбит ее», – наивно соображала она.

Улучив, минуту, когда оба гостя занялись разговором с ее отцом о каких-то преобразованиях в русской армии, а мать отправилась распорядиться по хозяйству, Наталя Федоровна незаметно выскользнула из гостиной в свою комнату, достала листочек бумаги и наскоро стала писать карандашом.

Руки ее дрожали.

Написав несколько строк, она два раза перечитала их, и бережно сложив в несколько раз маленький листочек почтовой бумаги, сунула его в карман своего платья.

«Но как я передам ее ему?» – возник, в ее уме вопрос, но она нашла тотчас же и ответ на него: «При прощании он всегда прощается со мной с последней».

На этом она успокоилась и вернулась в столовую, куда уже, по приглашению Дарьи Алексеевны, перешли гости пить чай.

Заняв свое место по правую сторону матери, Талечка все-таки не была совершенно покойна. Мысль, что могут увидеть, как она передаст записку Зарудину, заставляла ее по временам мысленно совершенно отказываться от задуманного плана, но затем воспоминание об ожидающей завтра ответа подруге изменило это решение.

«Будь, что будет!» – решила мысленно Наталья Федоровна.

Она чувствовала, что она то бледнела, то краска снова прилиwała к ее лицу.

Это не ускользнуло от внимания Дарьи Алексеевны.

– Что это у тебя, жар никак? – провела она рукой по лбу дочери, влажному от напряжения мысли.

– Нет, ничего, мама, я чувствую себя хорошо, – отвечала Талечка.

«Надо быть спокойнее», – подумала она про себя.

XIX

Не в те руки

Время за чаем и закуской для всех, кроме Натальи Федоровны, промелькнуло незаметно. Кудрин очень понравился Федору Николаевичу; старик оживился и рассказывал один за другим различные эпизоды из своей боевой жизни.

Кроме вежливости, заставлявшей внимательно слушать старика, его молодые собеседники на самом деле заинтересовались его воспоминаниями.

Талечка имела возможность, притворяясь тоже слушающей, хотя и знала все эти рассказы почти наизусть, привести постепенно в порядок свои расхолодившиеся нервы.

Наконец, гости начали прощаться.

Николай Павлович, как и предполагала Талечка, подал ей руку последней, но, увы, она не рассчитала, что ранее его может подать ей руку Кудрин.

Так и случилось.

Записка, бывшая в руке Талечки, очутилась у Андрея Павловича. Это случилось так неожиданно для нее, что вся кровь бросилась ей в голову и даже слезы навернулись на ее глазах. Последние так умоляюще посмотрели на Кудрина, в них было столько красноречивой мольбы, что он ответил в конец сконфуженной девушке добродушной улыбкой и взглядом, которым очень выразительно повел в сторону Зарудина.

Талечка поняла, что Кудрин догадался об ошибке и благодарила его тоже взглядом.

Этот взгляд, казалось, говорил: не осудите меня, я не виновата!

Андрей Павлович и не осудил, хотя был вполне уверен, что попавшая случайно в его руки записка, предназначавшаяся для Зарудина, была любовная.

Что же иное, впрочем, он мог предполагать?

Окружающие не заметили ничего, так как Наталья Федоровна напрягла всю силу своей воли, чтобы казаться спокойной, хотя чуть не умирала от стыда.

«Боже мой, что я наделала, ведь я же могла незаметно переложить ее в другую руку, но... мне казалось, что маменька пристально смотрит на меня», – соображала она, к слову сказать, довольно поздно.

Прощаясь с Николаем Павловичем, она не решилась поднять на него глаз.

Это заставило его окинуть ее тревожным взглядом.

«Что с ней? Уж не обидел ли я ее чем-нибудь?» – подумал он.

На дворе стояла теплая апрельская ночь и приятели, отпустив по приезде своего извозчика, пошли пешком по направлению к набережной Невы и Адмиралтейскому мосту.

– Ну, что, понравилась тебе она? – тотчас по выходе из подъезда спросил Зарудин.

– Ты прав, она прелестна, видимо, добра, умна и далеко не заурядно образована, а главное в ней – и в этом ты прав – эта чистота, эта нетронутость натуры. Кто ее воспитывал, тому можно дать премию.

– Это одна француженка, старушка, перед памятью которой она до сих пор благоговееет, она уже умерла.

– Царство небесное этой француженке, она, видимо, не была атеисткой.

– Какой, фанатичная католичка!

– Нехорошо, если она повлияла на нее и с этой стороны, вера главным образом должна быть бесстрастна, религиозные страсти погубили немало не только единичных личностей, но и народов.

– Нет, я не думаю, мы с ней поднимали этот вопрос и она, как я успел убедиться, далека от религиозной нетерпимости.

– Дай Бог. Насилие над совестью ближнего по моему мнению позорнейшее из преступлений! Что же касается до того, что она не имеет понятия о земной любви, то в этом ты ошибаешься и доказательство тому лежит в моем кармане.

Николай Павлович даже остановился.

Они проходили в это время Исаакиевский мост.

– Что такое ты сказал? Я отказываюсь понимать...

– Да ты не сердись, просто барышня растерялась, я подошел к ней прощаться раньше тебя, она мне поневоле должна была подать руку и в моей руке очутилась приготовленная для тебя записка...

– Записка? Ты лжешь...

– Ну, вот видишь, не знай я тебя и не люби, я бы тебя за эти слова мог поставить к барьеру, тем более, что это у нас теперь в такой моде, но так уж и быть, живи и слушай... – засмеялся Кудрин.

Николай Павлович опомнился, услышав добродушный тон своего приятеля: он понял, что последний сказал правду.

– Прости, ты меня совершенно ошеломил...

– То-то прости, а ошеломляться тебе совершенно не из чего. Барышня – молодец, заметила, что ты с нее влюбленных глаз не сводишь, а молчишь, как пень, дай, думаю, сама этого робкого воина поймаю... Но и в этом покушении на твою свободу, в этой передаче записки было столько прелести; если бы ты видел, как она растерялась, вспыхнула, сробела и каким умоляющим взглядом подарила меня, не успев и не сумев незаметно вынуть из руки приготовленную для тебя записку, сейчас видно, что это был ее первый дебют. Бедняжка думала, что ты подойдешь первый с ней проститься, а тебя там задержал старик, меня и нанесла нелегкая.

– Где же она... эта записка?... Может, она и не ко мне? – пробормотал Зарудин, нетерпеливо перебивая приятеля.

– Послушай, Николай, это еще что, ведь так мы с тобой, пожалуй, и всерьез поссоримся. «Может, не ко мне», так к кому же, не ко мне ли, которого Наталья Федоровна первый раз в жизни видит... Это похоже на клевету и совсем не вяжется с твоими восторженными о ней отзывами... да и не скрою, брат, – не красиво...

– Я пошутил, глупо, низко, гадко пошутил... Ты прав, остановив меня, благодарю тебя, ты настоящий друг... Но дай мне записку...

– Изволь, получай, ты совсем сумасшедший, делай-ка, брат, поскорей предложение, но шафером я твоим не буду...

Кудрин подал Зарудину полученную им от Талечки записку.

– Почему?

– А потому, что надеюсь, что меня пригласит невеста, тем более, что я самую судьбою произведен в ее конфиденты...

Николай Павлович крепко пожал ему руку.

– Ну, прощай, желаю полного успеха! – искренно ответил тот на его рукопожатие. – Мне прямо, а тебе налево...

Приятель расстался.

Вскоре Зарудину попался извозчик. Он сел без торга и приказал ехать как можно скорее домой. Ему страшно хотелось поскорее прочесть записку, на улице же было темно.

XX Разрушенный идеал

«Мне необходимо вас видеть. Приходите завтра в четыре часа и подождите меня вблизи нашего дома, но так, чтобы вас не заметили. Я пойду к Бахметьевой в сопровождении горничной. Надо сделать вид, что мы встретились случайно.

Н.»

Николай Павлович несколько раз перечел эту записку и в глубоком раздумьи откинулся на спинку кресла, стоявшего в его спальне.

– Иди спать, я разденусь сам, – кивнул он явившемуся было в спальню слуге.

Тот так же неслышно вышел, как и явился.

– Неужели я мог в ней так ошибиться! – произнес, спустя несколько минут, Зарудин, встал, снял сюртук и начал медленно ходить по мягкому, пушистому ковру, покрывавшему пол небольшой комнаты, служившей ему спальней.

«Наталья Федоровна и... назначенное свидание!» – это положительно не укладывалось в его голове. Недаром он так бестактно, так грубо вел себя относительно Кудрина, когда тот передал ему о полученной записке.

Если бы последняя и теперь не была зажата в его руке, он не поверил бы никому.

Как девушка, перед которой он преклонялся, которую считал идеалом женщины – человека, вдруг моментально упала в его глазах в ряды современных девушек, вешающихся на шею гвардейцам.

Эта мысль положительно жгла мозг идеалиста Зарудина.

Он готов был бы лучше перенести все муки отвергнутой любви, умереть у ног недостижимого для него кумира, чем видеть этот кумир поверженным – ему казалось это оскорблением своего собственного чувства, унижением своего собственного «я», того «я», которым он за несколько часов до этого охотно бы пожертвовал для боготворимой им девушки.

А теперь эта девушка так неожиданно, так низко пала в его глазах, а с ней вместе пало и разбилось его чувство, он сам к себе даже почувствовал презрение за это чувство.

Он сознавал, что не мог извинить ей, подобно Кудрину, этого первого дебюта на сцене заурядного житейского романа; для Андрея Павловича она была просто милая девушка невеста, будущая хорошая жена, для него же она была божество, луч света, рассекавший окружающий его мрак.

И этот луч погас.

Зарудин все продолжал ходить по кабинету и все более и более разжигал свою фантазию, разжигал до физической боли, до того, что начал почти чувствовать ненависть к той, которая на завтра назначила ему свидание.

Когда же полет его фантазии дошел до своего апогея, то, как всегда, наступила реакция.

– Но, быть может, это совсем не любовное свидание, быть может, ей нужно что-нибудь передать мне, попросить совета, помощи, сделать поручение, быть может, она обращается ко мне, как к другу, как к брату!

Зарудин остановился и даже ударил себя рукой по лбу.

– Это верней всего, а я, несчастный, клевету на нее, на эту чистую девушку... Боже, какой я низкий, подлый человек... Это более чем «некрасиво», – припомнилось ему выражение Кудрина, – это возмутительно, этому нет имени, – добавил он от себя.

Началось самобичевание.

Только почти под самое утро Николай Павлович наконец заснул, в конец разбитый испытанными им душевными страданиями.

Проснулся он в обычный час и наскоро, как обыкновенно, выпив чаю, уехал на службу.

В два часа дня он уже входил в столовую, так как это был назначенный час для общего их обеда с отцом, и старик не любил неаккуратности.

Здесь Николай Павловича ждало неприятное известие.

– А у меня гость был, редкий гость! – заметил во время обеда Павел Кириллович.

Сын только бросил на него удивленно-вопросительный взгляд.

– Сам его превосходительство Федор Николаевич Хомутов неожиданно-негаданно пожаловал... – лукаво подмигнув сыну, продолжал он.

– А!.. – произнес Николай Павлович, но сердце его как-то инстинктивно упало, предчувствуя беду.

– Чего а? Будто ты и не знаешь, зачем он ко мне в такую даль старые кости тряс?..

– Почему же мне знать, батюшка...

– Ох, хитришь, Николай, с отцом не откровенен, не хорошо... – раздражительно продолжал Павел Кириллович.

Молодой Зарудин уже с нескрываемым удивлением поднял на него глаза.

– Я хитрю... Неоткровенен с вами... Батюшка, я положительно ничего не понимаю...

– Не понимаешь... – окинул его Павел Кириллович подозрительным взглядом. – Будь по-твоему... Коли не понимаешь, я тебе объясню...

Николай Павлович молчал.

– Ты это через день на Васильевский остров все о здоровье старика справляться катаешься? – после некоторой паузы спросил Зарудин-отец.

– Если это не нравится вам и Федору Николаевичу, то я могу и прекратить к нему свои визиты... – вспыхнул сын.

– Прекратить... – протянул старик. – Нет, шалишь, брат, теперь уже поздно...

– То есть как это поздно?

– Так, как бывает... его превосходительство, хотя и стороной, а тебя приезжал сватать...

– Сватать?..

Николай Павлович побледнел: назначенное через два часа свидание, в связи с приездом отца Натальи Федоровны и его сватовством, хотя и стороной, снова подняло в душе идеалиста Зарудина целую бурю вчерашних сомнений. Как человек крайностей, он не сомневался долее, что отец и дочь, быть может, по предварительному уговору – и непременно так, старался уверить он сам себя – решились расставить ему ловушку, гнусную ловушку, – произошло в его голове.

– Каким же образом он начал этот разговор с вами, батюшка? – упавшим голосом спросил он отца.

– Да ты чего это так с лица-то изменился?.. Не по нраву, что ли, прилась?.. Не любя она тебе?

– Не то, не то, батюшка, но так не... делается...

Он чуть было не рассказал отцу историю с запиской и о назначенном свидании, но какое-то внутреннее чувство удержало его. Он один должен быть судьей ее – его разрушенного идеала! Зачем вмешивать в эту историю других, хотя бы родного отца. Он сам ей в глаза скажет, как он смотрит на подобный ее поступок.

– А по-моему, так оно и делается... В чем другом, а в честности старику Хомутову отказать нельзя... Бурбон он, солдат, с Аракчеевым одного поля ягода, в этом мы с ним не сходимся, но прямой, честный, откровенный старик, – за это я его и люблю.

– Но с чего же он начал разговор?

– А с того, что заметил он, а потом и его жена, что уже чересчур сладко стал ты поглядывать на их дочку, так и явился о том его превосходительство доложить моему превосходительству... дозволю ли я открыть тебе военные действия против крепости, готовой к сдаче... – шутливо говорил Павел Кириллович.

Этот шутливый тон резал Николая Павловича ножом по сердцу.

– Я со своей стороны ничего бы не имел против этого брака, Наташа девушка хорошая, почтительная, образованная, да и не бесприданница, чай; тебе тоже жениться самая пора, как бишь его у немцев есть ученый или пророк, что ли, по-нашему... Лютер, так тот, кажется, сказал, что кто рано встал и рано женился, никогда о том не пожалеет, я немцев не люблю, а все же это умно сказано... Так с моей стороны препятствий не будет, я так и его превосходительству отапортовал, а с тобой, сказал ему, что переговорю... Какие же твои, Николай, намерения?..

Старик Зарудин остановился, вопросительно взглянул на сына и стал с аппетитом обглаживать ножку жирного гуся.

– Меня это застало врасплох... Я, признаться, не имел никаких определенных намерений... – растерянно отвечал Николай Павлович, чувствуя, что краска покрывает его лицо от этой невольной лжи.

– Никаких определенных намерений, – проговорил Павел Кириллович, прожевывая кусок, – не хорошо, брат, девку с ума сводить, ферлакурить, без определенных намерений, не считал я тебя за блазня... не хорошо, не одобряю...

– Но я и не ферлакурил... – попробовал оправдаться сын.

– А чего же ты там через день по вечерам около нее торчал?..

– Мы читали, беседовали...

– Беседовали, читали... знаем мы эти чтения, сами молодые были, сами читывали...

Не хорошо, отец – мой старый приятель, семья уважаемая... ты в таком случае это брось, постепенно прекрати знакомство... а так не годится...

– Но, я...

– Нечего тут – «но, я», – раздражительно, обтирая салфеткою свои губы, продолжал ворчать Павел Кириллович, – говори что-нибудь одно, а вилать нечего, свататься хочешь, сам поеду, не хочешь, тоже сам съезжу, все напрямки выскажу старику, говорит сын, что беседовали, да читали, насчет любви со стороны моего сына ни чуточки...

– Да ведь я же этого не говорил!

– То есть, как не говорил, кабы любил, то под венец бы с радостью пошел, обрадовался бы, что тебя тоже любят; не без венца ли хочешь обойтись, дочь генерала Хомутова в любовницы взять? – стал уже кричать расхोлившийся старик.

– Что вы, что вы, батюшка, у меня и вы мыслях не было... да притом же здесь... слуги, – уже шепотом добавил сын.

– Что мне, что слуги, я тебя, чай, не худу учу, что мне людей стесняться, а коли тебе зазорно, так на себя пеняй, да вдругорядь не делай! – выходил из себя Павел Кириллович.

«Объяснить ему, что происходит в моем сердце, но он не поймет; ведь и делает же он выводы...» – несло в это время в голове Николая Павловича.

– Я прошу вас, батюшка, дать мне сроку до завтрашнего дня, завтра я вам дам ответ... и объясню все.

– Хорошо, до завтра, так до завтра... – смягчился старик безответностью сына. – Но только, чур, не вилать, а отвечать прямо, чтобы за тебя глазами хлопать не пришлось перед честными людьми.

Вскоре они встали из-за стола.

Николай Павлович посмотрел на часы. Было пять минут четвертого. Час свиданья приближался.

Павел Кириллович ушел к себе в кабинет курить послеобеденную трубку и подремать на кресле, а Николай Павлович отправился на свою половину и через четверть часа вышел из дому, озлобленный и мрачный.

– Я ей выскажу все... я ей отомщу за мой разрушенный идеал! С такими мыслями он велел остановиться извозчику на углу 6-й линии Васильевского острова и пошел пешком, мимо теперь почти ненавистного ему коричневого домика.

XXI

Свидание

На улице не было ни души.

В течение почти четверти часа прогулки Николая Павловича, по противоположной домику Хомутовых стороне улицы, с ним встретился только один вытянувшийся в струнку матросик.

Пройдясь несколько раз взад и вперед, Зарудин остановился довольно далеко от дома и стал наблюдать, то и дело поглядывая на часы.

Прошло еще несколько минут.

Наконец, из ворот дома вышли две женские фигуры, в которых Николай Павлович узнал Талечку и ее горничную.

Медленно перешел он на противоположную сторону и спокойно, шагом прогулки, пошел навстречу идущим.

Сердце его, между тем, усиленно билось.

Момент окончательного разрыва с еще вчера боготворимой им девушкой, так страшно быстро приближающийся, невольно заставлял его ощущать под маской наружного спокойствия внутреннюю, лихорадочную дрожь.

— Bon jour, mademoiselle! — чуть дрогнувшим голосом произнес он, слегка притрагиваясь к шляпе и останавливаясь перед Натальей Федоровной.

Он никогда не обращался к ней с этим французским приветствием, но теперь ему показалось, что только на этом языке утонченной вежливости он более всего может придать холодности этой встрече.

Талечка вскинула на него испуганно-умоляющий взор и покраснела как маков цвет.

— Здравствуйте! Вы к нам? — чуть слышно добавила она, и, казалось, еще более покраснела, если это только было возможно, от этой, видимо, с усилием вымолвленной лжи.

Вид этой страшно смущенной, растерянно стоявшей перед ним прелестной девушки заставил его в одно мгновение уже забыть весь составленный им ранее план разговора с ней, и вертевшийся на его языке язвительный ответ на ее невольную ложь, совершенно против его воли, сложился в другую фразу.

— Да, но, видимо, я попал не вовремя. Вы куда?

— К Кате Бахметьевой.

— Вы позволите немного проводить вас?

Наталья Федоровна низко наклонила голову в знак согласия.

Они пошли рядом.

Горничная почтительно замедлила шаги и пошла на довольно дальнем от них расстоянии.

Несколько минут они оба молчали.

Наталья Федоровна украдкой, видимо, боязливо, взглядывала на своего спутника, как бы собираясь с силами прервать тягостное для нее молчание.

— Я хотела вас видеть, — полушепотом начала она.

— Я поспешил, как видите, исполнить ваше желание, хотя признаюсь, получение вашей записки через третье лицо... — тоже вполголоса заговорил он. Видно было, что испытываемые им тревожения по поводу этой записки и разговора с отцом снова начали подымать всю прежнюю горечь в его сердце.

Она не дала ему договорить и поспешно прошептала:

– Простите, я хотела с вами говорить вчера, но вы приехали не один, я не знала, что мне делать, я так растерялась... а между тем, время не терпит, мне сегодня надо было все выяснить, все решить.

– Что выяснить, что решить?..

– Все! – с каким-то отчаянием в голосе повторила она.

Он замолчал, и по его губам скользнула почти презрительная усмешка.

«Пусть выскажется сама! Я не стану помогать ей! Это будет первым наказанием за ее бестактность», – неслось в его голове.

Она тоже несколько минут молчала, как бы собираясь с мыслями.

– Помните, мы как-то еще недавно говорили с вами, что искреннее чувство всегда вызывает ответ в сердце того, к кому оно обращено, – чуть слышно, видимо, делая над собой неимоверное усилие, начала говорить Наталья Федоровна. – Вы даже высказали тогда мысль, с которой я не совсем соглашаюсь, что искреннее чувство не только должно вызывать сочувствие, но прямо может требовать этого сочувствия, и такое требование не решится удовлетворить только черствый, бессердечный эгоист. Я еще возразила вам тогда, что может случиться, что тот, кто любит, далеко не соответствует идеалу любимого им. Вы сказали мне, что искренно, честно любить может только безусловно хороший человек, а такого человека нельзя не любить в свою очередь, что способность такой любви не дается в удел всем, а является лишь результатом нравственной высоты человека. Что же касается до физической красоты, то она, не в смысле правильных черт, конечно, почти всегда или сопровождает красоту нравственную, или же бледнеет и ступшевывается перед ней, так что в расчет приниматься не может. Я невольно согласилась с вами. Видите, как я все хорошо помню.

Она остановилась.

Николай Павлович, продолжая идти с ней рядом, не вымолвил ни слова. На его лице скользила лишь по временам все та же полупрезрительная улыбка.

«Не то, не то, совсем не то я говорю, надо сказать прямо, легче, скорее!» – пронеслось в ее голове.

– Так вы меня удостоили вашего свидания лишь для того, чтобы повторить этот разговор? – тоном ледяной любезности спросил он, прождав несколько минут, не скажет ли она чего-нибудь еще.

Ее смутил его непривычный для ее слуха тон. Она бросила на него умоляюще-растерянный взгляд.

– Нет... не за этим только... мне надо было сказать вам... что есть одна особа... которая вас искренно любит... я хотела вас попросить за нее...

– Попросить... за нее... – повторил он. – Что же именно?

– Чтобы вы... разделили... ее чувства... она страдает, мучается...

– Если бы она, эта особа, – прервал он ее, подчеркнув последние слова, – решилась, как вы теперь, сказать мне это, то один подобный шаг вынудил бы меня отказать ей в уважении, а следовательно, и во взаимности...

Тон его, несмотря на то, что он говорил вполголоса, был более чем резким.

Он, казалось, умышленно отчеканивал каждое слово.

– Но она... она бы и не решилась... сказать сама... я сама вызвалась помочь ей... она не виновата... – заторопилась Талечка.

– Кто же эта она? Или мне надо догадаться? Разрешить эту шараду? – ядовито спросил он.

– Нет, зачем же догадываться... Я скажу... Это Катя Бахметьева... – совершенно просто ответила она.

Николай Павлович побледнел и почти до крови закусил нижнюю губу.

Очередь смутиться наступила для него.

Ее, эту чистую, прелестную девушку, он мог заподозрить в низких житейских расчетах, в бестактной ловле богатого жениха, а между тем, она... верная себе... хлопочет за другую, за свою подругу, далекая от каких-нибудь эгоистических помышлений. Для этой другой она решилась написать ему записку, назначить свидание; сколько при этом вынесла она борьбы со своею девственным скромностью! Еще за минуту осуждаемые им ее вчерашний и сегодняшний поступки выросли мгновенно в его уме и получили окраску геройских подвигов. Любовь к ней снова властно вернулась в его сердце, а часы сомнения, казалось, еще более усилили ее. Но что ему ответить ей? Что может, наконец, он ответить ей? Что он любит ее одну, что ему нет дела до чувств, питаемых к нему другими девушками. Что об его чувство к ней, как о гранитную скалу, разбиваются волны всех философских теорий. Да, впрочем, он приводил эту теорию не о том чувстве, которое теперь клокочет в его груди, но о чувстве братской взаимной любви. Надо объяснить ей это, начать хоть с этого... Она может принять его молчание, вызванное необычайным волнением, за согласие отвечать на любовь к той... к другой.

Все это в течение нескольких мгновений мысленно пережил он.

– Наш разговор, о котором вы вспомнили, касался, Наталья Федоровна, совершенно иного чувства любви, нежели то, которое, как я заключил из ваших слов, питает ко мне Екатерина Петровна, – начал он. – Я тоже готов любить ее, как друга, но она едва ли удовлетворится таким чувством. Иного же я питать к ней не могу...

– Почему? – наивно спросила Талечка.

– Потому, что я люблю другую...

– Другую! – упавшим голосом, в котором слышались нотки отчаяния, повторила она.

– Да, другую! – поглядел он на нее пытливым, полным любви взглядом.

Она не видала, а скорее почувствовала на себе этот взгляд и еще более смутилась.

– Кого? – сорвалось у нее с языка, но она тотчас же опомнилась. – Простите...

– Да неужели же вы до сих пор не поняли, что я люблю... вас, – подавленным шепотом произнес он, наклонившись к ней совсем близко.

Она вдруг побледнела и пошатнулась. Он ловко поддержал ее.

– Уйдите... я не могу... не в силах... говорить долее...

– Вы рассердились... простите...

– Нет, не то... не то... но я... не могу... Уйдите...

Она обернулась к шедшей в почтительном отдалении горничной и движением головы подозвала ее. Последняя поспешила к ней.

– Мне что-то дурно, дай руку...

– Да не вернуться ли домой, барышня?

– Нет, теперь ближе к Бахметьевым... Я у них оправлюсь, это пройдет.

Они были на Большом проспекте, где жили Бахметьевы. Горничная взяла ее под руку. Николай Павлович был так поражен, что не вымолвил ни слова. Он машинально взял протянутую ему на прощание руку Талечки...

Она, опираясь на руку служанки, шатаясь, пошла далее, он все еще продолжал стоять на одном месте, следя за ней почти бессмысленным взором.

«Она, она любит меня. А я, ничтожный, неблагодарный, себялюбивый негодяй, разве я стою ее!» – несло в его голове.

XXII

Клятва

Большой проспект Васильевского острова того времени, как и ныне, представлял из себя улицу застроенную домами, перед каждым из которых был палисадник, а сама улица у тротуаров была обсажена деревьями, а тротуар тоже состоял из деревянной настилки. Мостовая была замощена лишь на половину.

В одном из таких деревянных домиков, принадлежащем в собственность Мавре Сергеевне Бахметьевой, проживала она со своей дочерью.

Женщина она была далеко не состоятельная, жила маленькой пенсией после покойного мужа, да доходом с небольшого имения в Тверской губернии, но злые языки уверяли, что у Мавры Сергеевны спрятана кубышка с капиталцем, который она предназначает дать в приданое своей любимой дочке, но строго охраняет его существование, чтобы не подумать, что сватаются не за красавицу Катиш (красавицей считала ее мать), а за кубышку. Насколько это было верно – судить было трудно. Верно было одно, что мать ни в чем не отказывала своей балованной дочке.

Небольшой домик был разделен на две половины; заднюю занимали жилыцы, а в передней с пятью окнами, выходящими на улицу и украшенными зелеными ставнями, краска с которых почти слезла, жили сами хозяева.

Обстановка их квартиры была солидна и прилична: массивные стулья, столы и диваны красного дерева отличались необыкновенной чистотой – крепостной прислуги в доме было несколько человек. Самым уютным, впрочем, уголком была угловая светленькая комната Екатерины Петровны.

Во всем, начиная с белоснежной постели и кончая горкой красного дерева с зеркалами внутри и стеклянными стенками, наполненной разного рода безделушками – видна была рука боготворившей свою дочь матери.

Екатерина Петровна два дня, в которые она не видала Талечку, с того памятного, вероятно, читателю свидания, была в страшно удрученном состоянии духа.

Она несколько раз принималась плакать, так что глаза ее были красны от слез, несколько раз хотела бежать к Хомутовым, чтобы остановить Талечку от объяснения с Зарудиным, начинала два раза писать ей письмо, но ни одно не окончив рвала на мелкие кусочки. Наконец, решила, что будь, что будет и с сердечным трепетом стала ожидать обещанного прихода подруги.

Такое состояние духа дочери, конечно, не ускользнуло от Мавры Сергеевны, но на все ее расспросы она получала лишь уклончивые ответы Кати, что ей просто нездоровится, болит голова и расстроены нервы.

– И что это с ней делается, ума не приложу, – говорила она старой няньке Екатерины Сергеевны Акулине, добродушной старушке с вечно слезящимися глазами.

Последняя только печально качала головой, что приводило в еще большее уныние старуху Бахметьеву.

«Наверное влюбилась, девушка, в самой что ни на есть поре, надо за ней глаз да глаз теперь, – рассуждала сама с собой Мавра Сергеевна. – Но в кого?»

Этот вопрос оставался открытым даже для наблюдательной и зоркой матери.

Дочь не была в этом случае откровенна с матерью.

Дом Хомутовых был единственный, куда Мавра Сергеевна отпускала зачастую свою дочь одну, в домах же остальных знакомых и у себя – ни там, ни здесь не бывал Зарудин, – она не могла наметить кавалера, к которому бы дочь относилась с исключительным вниманием.

Наконец, в их квартире дрогнул звонок, на который стремительно выбежала Екатерина Петровна и заключила в свои объятия вошедшую Талечку.

Последняя хотя и оправилась от охватившего ее первого волнения, но была бледна и растеряна.

«Что скажет она Кате?» – было ее первой мыслью, когда она простилась с Зарудиным.

Те страдания, которые она невольно причинит своей подруге, сказав правду, – а что может сказать она, кроме правды, – отзывались с болью в ее сердце. О, как желала бы она поменяться с нею ролями! Теперь ей тяжелее, невыносимо тяжелее: она любима, она знает это, любима человеком, которого она любит сама, а между нею и этим человеком стоит непреодолимая преграда, стоит другая, нелюбимая им девушка, но ее друг, которой она дала слово, страшное слово не быть ее соперницей, эта девушка – Катя, которая так доверчиво и искренно дарит ее теперь своим поцелуем.

От Екатерины Петровны не ускользнула бледность и расстроенный вид Талечки. В них она прочитала себе приговор и побледнела в свою очередь.

– Что с тобою? Что случилось? Он...

– Перестань, потом, не при людях, – успела остановить ее Наталья Федоровна.

Молодые девушки вошли в комнаты, Талечка поздоровалась с Маврой Сергеевной, вышедшей к ней навстречу, и затем прошла в комнату Кати.

Молодые девушки остались одни.

– Ну, что и как... говори... – почти простонала последняя.

Талечка молчала, с каким-то виноватым видом смотря на свою подругу и вдруг неудержимо зарыдала. Екатерина Петровна поняла.

– Что?.. Я угадала... он любит тебя... и сказал тебе это, когда ты начала говорить обо мне.

– Почему ты это знаешь? – сквозь слезы спросила Наталья Федоровна.

– Не трудно догадаться... Но от чего ты плачешь... разве от счастья? – уже с ядовитой насмешкой продолжала та.

Талечка вскинула на нее отуманенные слезами глаза.

– Я прощаю тебе лишь потому, что знаю, что ты несчастна!

Катя нервно захохотала.

– Она прощает меня! Слышите, она прощает меня! – взволнованная до крайности девушка почти выкрикнула эти слова. – Ей надо было вмешаться в это дело, вызваться ходатайствовать за меня перед ним, вероятно, лишь для того, чтобы вырвать у него признание. Она, конечно, довольна, а теперь лицемерно плачет передо мной и даже решается говорить, что она меня прощает, когда я, наконец, срываю с нее постыдную маску.

Екатерина Петровна вскочила со стула и начала нервно ходить по комнате.

– Катя... Катя... опомнись, что ты говоришь! – хотела было тоже встать Наталья Федоровна с кресла, но бессильно снова упала в него, истерически зарыдав.

Екатерина Петровна поняла, что зашла слишком далеко, но клокотавшая злоба не улеглась еще в ее сердце; она не бросилась к своей подруге, умоляя о прощении, она налила только стакан воды и подошла к рыдавшей навзрыд Талечке.

– Полно, полно, успокойся... Услышит мать, начнет допрашивать... Я высказала свое мнение, но слишком резко. За последнее извини...

Она держала одной рукой ее голову, а другой прикладывала к ее пересохшим губам стакан с водою.

Талечка сделала несколько маленьких глотков.

– Свое мнение; грех тебе, Катя, большой грех, – прерывая слова рыданиями, заговорила она. – Хорошего же ты мнения о своем друге.

– Нынче нет друзей! Видно, прав Сережа Талицкий, что дружба двух девушек все равно, что собачья дружба, только последняя продолжается до первой брошенной кости, а первая до первого появившегося жениха.

Сережа Талицкий был молоденький артиллерийский офицер, недавно выпущенный из шляхетского корпуса. Он приходился троюродным братом Кати Бахметьевой. Рано лишившись отца и матери, он в Мавре Сергеевне нашел вторую мать, и все время пребывания в корпусе проводил в доме Бахметьевой. По выходе в офицеры, он пустился во все тяжкие, сделался типом петербургского «блазня» и был на дурном счету у начальства в это строгое Аракчеевское время.

Наталья Федоровна его недолюбливала: он не выдерживал сравнения с серьезным Николаем Павловичем, представителем мыслящего офицерства того времени.

– Мне очень жаль, что ты судишь обо мне по тем девушкам, о которых говорит и среди которых вращается Сергей Дмитриевич – так звали Талицкого, – запальчиво произнесла она.

– Все одинаковы, – настаивала Екатерина Петровна, продолжая срывать на подруге свою злость.

– Повторяю, напрасно. Если я заплакала, то заплакала только о тебе. О себе мне плакать нечего, да и притворяться нечего, последнего, впрочем, я слава Богу, и не умею. Я третьего дня еще сказала тебе, что не люблю его, и хотя раздумав после, убедилась, что сказала неправду, но и теперь даю тебе слово, мое честное слово, что не сделаюсь твоей соперницей и никогда не соглашусь выйти за него замуж, хотя не далее получаса тому назад он действительно сказал мне, что он меня любит.

Катя сделала нетерпеливый жест, но Талечка не дала ей заговорить.

– Ты скажешь потом, а теперь выслушай меня до конца. Я хочу снять с себя незаслуженное мною твое обвинение.

Наталья Федоровна подробно рассказала, как историю с запиской, так и сегодняшний разговор с Зарудиным.

– Поверь мне, что для себя я не стала бы переносить таких нравственных мук и сумела бы иначе, легче заставить его высказаться, если бы хотела. Повторяю тебе, что женою его я никогда не буду. Клянусь тебе в том, слышишь, клянусь!.. Я не признаю дружбы, могущей порваться вследствие брошенной кости...

Она говорила это, все продолжая обливаться неудержимыми слезами.

Екатерина Петровна слушала ее молча, стоя около небольшого столика, на который поставила недопитый Талечкой стакан с водой, на лице ее были видны переживаемые быстро друг за другом сменяющиеся впечатления. Когда же Наталья Федоровна кончила, она тихо подошла к ней, опустилась перед ней на колени и, полная искреннего раскаяния, произнесла:

– Прости, прости меня, я сумасшедшая, я теперь только окончательно узнала твое самоотверженное золотое сердце...

Молодая девушка упала головой в колени Талечки и в свою очередь глухо зарыдала.

Наталья Федоровна понимала, что она плакала не только от раскаяния в своей вине перед ней, но и от обрушившегося на нее более тяжелого удара судьбы, а потому дала ей выплакаться.

«Слезы облегчают, они очищают душу, проясняют ум и смягчают страдания наболевшего сердца», – припомнилось ей где-то прочтенное выражение.

Она также тихо продолжала плакать, склонившись над плачущей подругой.

Вид этих двух девушек, прелестных, каждая в своем роде, созданных, казалось, для безмятежного счастья и переживающих первое жизненное горе, произвел бы на постороннего зрителя тяжелое, удручающее впечатление.

Такого постороннего зрителя, впрочем, не было.

Мавра Сергеевна хлопотала по хозяйству и не заходила к дочери, надеясь, что ее благоразумная подруга, какой она считала Хомутову, разговорит ее заблажившую дочь.

Наплакавшись вдоволь, молодые девушки кончили тем, что помирились, и Наталья Федоровна начала утешать Катю, представляла ей, что разум должен руководить чувством и что отчаяние есть позорная слабость и тяжкий смертный грех.

Она, впрочем, сама худо верила в те истины, которые проповедовала.

Предчувствие тяжелой борьбы между чувством и долгом рисовало ей мрачные картины будущего.

Когда мать Екатерины Петровны позвала их пить чай, они обе казались покойными и лишь краснота глаз выдавала, что между ними произошло нечто, заставившее их плакать.

Мавра Сергеевна однако не заметила и этого. Она видела, что ее Катиш как будто повеселела и была довольна.

XXIII

Масон

Николай Павлович Зарудин прямо с Большого проспекта поехал к Андрею Павловичу Кудрину. Ему необходимо было высказаться, а Кудрин, кроме того, что был его единственным, задушевым другом, самым Провидением, казалось Зарудину, был замешан в это дело случайно переданною ему Натальей Федоровной запиской.

Кудрин жил на Литейной, занимая небольшую, но уютную, комфортабельную меблированную холостую квартирку. Когда Николай Павлович приехал к нему, то он только что встал после послеобеденного сна и читал книгу: «Об истинном христианстве», в переводе известного масона времен Екатерины II И. Тургенева.

Андрей Павлович был действительным членом, посвященным масоном одной из петербургских лож и прошел уже степень «аппрантива», то есть учащегося, до степени «компаниона».

Эта степень возлагала на члена обязанность распространять масонское учение и давала права рекомендации в ложу «аппрантивов».

Кудрин со страстной энергией исполнял эту обязанность и успел привлечь уже очень многих. В описываемое нами время он постепенно увлекал в ложу и Зарудина, и тот зачастую по целым вечерам проводил, внимательно слушая увлекательную проповедь своего друга, так что поступление в масоны и Зарудина было только делом времени.

Андрей Павлович не удивился приезду к нему Николая Павловича, так как знал о полученной записке и ожидал, что его друг не скроет от него результата любовного послания, которого он был случайным почтальоном.

— Ну, что, как дела, дружище, — шутливым тоном начал было он, но взглянув в лицо своего гостя, сразу оборвал фразу.

— Что с тобою? На тебе лица нет.

— Я презренный негодяй, подлец... Каждый честный человек имеет полное право сказать мне это в лицо... — начал тот, бессильно опускаясь в одно из покойных кресел кабинета Андрея Павловича.

— Самоуничтожение паче гордости. Но в чем дело, расскажи толком? — спросил последний, привыкший к припадкам самобичевания своего приятеля.

Зарудин в подробности рассказал ему, как содержание записки, так и впечатление, произведенное им на него, подкрепленное долгим разговором с отцом, и, наконец, беседу его с Натальей Федоровной, беседу, возвысившую ее в его глазах до недостижимого идеала и низвергнувшую его самого в пропасть самопрезрения.

— Разве можно после этого жить? — заключил свой рассказ Николай Павлович.

Кудрин внимательно и серьезно слушал своего приятеля, но при последнем его восклицании не мог не улыбнуться.

— Не только можно, но должно. Теперь только начинается твоя жизнь... Ты знаешь, что она любит тебя. Твои и ее родители согласны, зачем же стало дело? Веселым пирком, да и за свадебку.

— Нет, я не стою ее. Повторяю тебе, что с нынешнего дня я стал самого себя презирать, стал самому себе ненавистен. Человек, осмелившийся заклеить ее малейшим подозрением — ей не пара.

— Но, во-первых, в основе этого подозрения лежала твоя безумная к ней любовь, это была просто ревность к идеалу, которым, ты полагал, она перестала быть, а во-вторых, что касается вопроса, стоишь ли ты ее, то это уже исключительно ее дело. Если же ты хочешь слышать мое мнение, пожалуй, скажу тебе откровенно, что действительно не стоишь.

Зарудин посмотрел на него вопросительно.

– Я не хочу этим тебя обидеть, сказать, что ты лично ее не стоишь, но я, несмотря на то, что видел ее всего один раз в жизни, каким-то внутренним инстинктом почувствовал, что нравственно она выше всех не только современных женщин, но и мужчин, и что она положительно «не от мира сего».

– Ты прав, ты совершенно прав, – даже привскочил с кресла Зарудин и, схватив руку Кудрина, стал крепко жать ее. – Я из более продолжительного знакомства с нею вынес такое же впечатление – это положительно ангел во плоти.

Андрей Павлович грустно улыбнулся.

– Одно не хорошо, что этим ангелом во плоти всегда трудно живется на грешной земле. Сдается мне, что Наталья Федоровна не будет счастлива даже с тобой.

– Ну, относительно себя-то я отвечаю, я окружу ее таким попечением, такую ласкою, устраню от нее все житейские заботы, что быть несчастливой у нее не будет причин.

– Ей не этого, поверь мне, нужно, ей нужно чистую, неколеблющуюся сомнениями душу, нужно участие в благотворной деятельности. Ты в силах доставить и это, но почему ты до сих пор уклоняешься?

– Ты говоришь о моем продолжительном колебании поступить в масонскую ложу? – прервал его Николай Павлович.

– Именно об этом. Когда я говорю с тобой, ты, по-видимому, убеждаешься, а затем, слушая людские толки, снова сомневаешься, а между тем, твоя будущая невеста обладает всеми масонскими качествами и ей ты мог бы, не колеблясь, отдать те замшевые белые дамские перчатки, которые дают каждому из нас при приеме в масоны, вместе с другими атрибутами масонства и другой парой мужских перчаток, даваемых нам в знак чистоты наших дел.

– Все это так, дружище, – заметил Зарудин, – но поступление в масоны я считаю таким жизненным шагом, на который нельзя решаться опрометью. Слушая тебя я на самом деле искренно желал бы работать вместе с тобою, а между тем, кругом меня в обществе говорят о вас – я буду откровенен – или хорошо, или очень дурно. Многие считают вас безбожниками.

Кудрин весь вспыхнул, его глаза загорелись, видно было, что его приятель задел его слабую струну.

Долго и неудержимо стал говорить он о сущности и целях масонства. Увлекательная речь ярого масона не осталась без воздействия на Зарудина: предстоящее сватовство последнего за Хомутову отодвинулось в мыслях обоих, беседовавших далеко за полночь, приятелей на второй план.

Николай Павлович, впрочем, вышел от Кудрина с твердым намерением как поступить в масонскую ложу, так и отдать перчатки не кому иному, как своей законной жене Наталье Федоровне, урожденной Хомутовой.

XXIV

Болезнь Талечки

На другой день, после обеда, Николай Павлович Зарудин имел со своим отцом продолжительное объяснение; он выложил перед ним всю свою душу и не утаил ничего, окончив просьбою самому явиться за него сватом к старику Хомутову.

– Добро, добро, сынок, – заметил Павел Кириллович. – Съезжу, завтра же съезжу, такая невестка и мне по душе, лучше девушки тебе не только в Петербурге, но во всем мире не сыскать.

– Я не знаю, как благодарить вас, батюшка! – радостно воскликнул Николай Павлович.

– Нечего благодарить заранее, как еще невеста согласится, мало ли что смутилась она, когда ты ей прямо брякнул о своей любви, может, просто стыдно ей стало от слов твоих.

У молодого Зарудина похолодело сердце.

«А что, если отец говорит правду, если она и не думает разделять его любовь... Что же такое, в самом деле, что она смутилась, почти лишилась чувств при его неожиданном признании. Может, потому-то она и ходатайствовала за другую, что совершенно равнодушна к нему, а он приписал это самоотвержению ее благородного сердца», – замелькали в его голове отрывочные мысли.

Он не высказал их отцу, но целый вечер и целую ночь не мог выгнать из своей головы гвоздем засевшего в нем, ледящего ему кровь вопроса: «А вдруг она ему откажет?»

Наталья Федоровна хотя и не отказала, но Павел Кириллович привез на другой день сыну весьма не радостные вести.

Дочь Хомутовых оказалась тяжело больной.

– Приехал я, в доме у них дым коромыслом, – повествовал старик, сидя с трубкой в зубах на диване своего кабинета, сидевшему перед ним смертельно бледному сыну, – два доктора. Сам Федор Николаевич совсем без ума от горя. «Не знаю, – говорит, – с чего это с ней приключилось. Пошла позавчера к своей подруге Кате Бахметьевой здоровехонька, а вернулась бледная, скучная, в ночь же жар сделался, мечется, бредит, все про эту Катю, да про вашего сына Николая Павловича... А что она говорит о них не разберешь...» Я тут не вытерпел и все старику выложил.

– Как все?

– Так все, что знал, тем более, он сказал мне, что и доктора говорят, что приключилась с ней болезнь эта от сильного потрясения, а старик плачет, не может понять, какое такое потрясение-то?

– Что же Федор Николаевич? – еле выговорил от волнения молодой Зарудин.

– Что? Ничего!.. Говорит, скажу жене, чтобы не пускали к ней эту озорную Бахметьиху, еще пуще ее расстроит... Всю кашу эту она заварила. Талечке бы и невдомек... Я тут начал его утешать... Дарья Алексеевна вошла, сообщила, что больная после приема лекарства заснула... Его превосходительство немножко успокоился, но я все же счел нужным замолвить словечко о тебе и о твоём предложении... Оба старика не прочь, за честь поблагодарили, но решили мы, что надо обождать до возвращения твоего из лагеря, выздоровеет она, оправится, тогда и говорить с ней будут, а раньше ни-ни... И ты уж туда не ездь, чтобы пуще ее не тревожить... Если она спросит ненароком, куда ты запропал, тогда сейчас тебе знать дадут, а то так зря нечего ее и расстраивать... А в августе, в сентябре, мы это все дело оборуруем... – прибавил Павел Кириллович ободряющим тоном, видя, что сын окончательно упал духом...

Николай Павлович молчал.

– Родители обещали, а обещанного, знаешь, три года ждут... Талечку же можно подождать и дольше... – пошутил старик.

– Нет, видно, не видать мне этого счастья! – с отчаянием в голосе произнес сын, и по щекам его скатились две горячие слезы.

– Стыдись, ведь ты офицер, а не баба, чтобы из-за пустяков реветь... – рассердился Павел Кириллович, не выносивший слез. – Девушка прихворнула, выздоровеет, еще краше будет, окрутим мы вас лучшим манером, после Успенского поста...

Николай Павлович через силу грустно улыбнулся.

Какое-то тяжелое предчувствие говорило ему иное. Он был убежден, что эта невольная отсрочка имеет для него нечто роковое.

Он и не ошибся: она действительно была роковой.

Николай Павлович прямо из кабинета отца поехал к своему другу Андрею Павловичу и только его мощное слово утешения заставило его несколько приободриться и терпеливо ждать решения своей участи, хотя в сердце нет-нет, да и подымались тяжелые предчувствия.

– Все Бог делает к лучшему, – говорил Кудрин, – ты сосредоточишься и решишься, наконец, вступить в нашу ложу, заняться деятельностью, в которой впоследствии твоя жена будет тебе верной помощницей.

Зарудин согласился со своим другом. Его мучила только предстоящая, быть может, долгая, а главное бессрочная разлука с боготворимой им девушкой.

Но он примирился и с этим, отдавшись службе и чтению книг.

Наталья Федоровна тоже часто задумывалась о причинах совершенного непосещения их дома молодым Зарудиным, но вместе с тем и была довольна этим обстоятельством: ей казалось, что время даст ей большую силу отказаться от любимого человека, когда он сделает ей предложение, в чем она не сомневалась и что подтверждалось в ее глазах сравнительно частыми посещениями старика Зарудина, их таинственными переговорами с отцом и матерью, и странными взглядами, бросаемыми на нее этими последними.

То, что отцу и матери известно все, что произошло между ней, Катей Бахметьевой и Николаем Павловичем, для Талечки было ясно из того, что мать старалась всячески отдалять ее от этой подруги.

Значит, молодой Зарудин передал все Павлу Кирилловичу, а тот ее отцу и матери, а Николай Павлович, умозаклучала она, мог передать все отцу только при просьбе о согласии на брак с нею.

Наталья Федоровна удивлялась только, чего они медлят сообщить ей, хотя, повторяем, радовалась этой медленности.

Оправившись после нервной горячки, которая выдержала ее в постели более шести недель, она первое время была очень слаба, но затем молодость и здоровая натура взяли свое и она стала поправляться и даже хорошеть, как говорится, не по дням, а по часам.

Но возрождающиеся физические силы далеко не соответствовали силам душевным, нравственному состоянию Талечки – оно продолжало быть угнетенным.

Молчаливая, задумчивая, ходила она из угла в угол по своей комнате, или по целым часам сидела за книгой, видимо, не читая ее, но лишь уставившись глазами в страницу: мысли ее были далеко.

Где витали они?

Главным образом, должны мы заметить, они сосредоточивались на вопросе, что будет, когда молодой Зарудин, поддерживаемый своим отцом, к которому ее отец питает дружбу и уважение, а также ее родителями, выступит с официальной просьбой ее руки. Хватит ли у нее сил противостоять этой просьбе горячо любимого человека и настоянию родителей, конечно, сторонников молодого Зарудина, считающих его хорошей партией для их дочери, а

потому, естественно, пожелавших узнать лично от нее причины странного отказа человеку, которому она так явно на их глазах и так долго симпатизировала?

Что скажет она им? Правду. Но придадут ли они какое-нибудь значение клятве, данной ею подруге? Не назовут ли они ее ребячеством, глупостью?

«И будут правы!» – шевелилось даже изредка в уме Натальи Федоровны.

«Что делать? У кого просить поддержки, помощи?» – мелькала неотвязная мысль.

Горячо молилась Наталья Федоровна о том же перед образом Божьей Матери, старинного письма, висевшем в ее комнате.

И помощь явилась откуда она вовсе ее не ожидала.

Тот же домашний доктор Хомутовых Федор Карлович Кранц, вылечивший Талечку от физической болезни, когда старики Хомутовы передали ему о странном состоянии духа их дочери, посоветовал доставлять ей как можно более развлечений.

На другой же день Федор Николаевич повез ее на излюбленное место гуляний тогдашних петербуржцев – Крестовский остров.

Там Наталья Федоровна встретила с неожиданным и могущественным союзником.

XXV

Крестовский остров

В 1805 году Крестовский остров, ныне второстепенное место публичных гуляний, далеко не отличающееся никаким особенным изяществом, был, напротив того, сборным пунктом для самой блестящей петербургской публики, которая под звуки двух или трех военных оркестров, гуляла по широкой, очень широкой, усыпанной красноватым песком и обставленной зелеными деревянными диванчиками, дороге, шедшей по берегу зеркальной Невы, в виду расположенных на противоположном берегу изящных дач камергера Зиновьева, графа Лаваля и Дмитрия Львовича Нарышкина, тогдашнего обер-егермейстера.

Последняя из названных дач, в особенности, обращала на себя тогда общее внимание, благодаря личности своего богача-владельца.

Дмитрий Львович славился, во-первых, тем, что у него был удивительный хор роговой музыки, состоявший из полсотни придворных егерей, игравших на позолоченных охотничьих рожках, словно один человек, с необыкновенным искусством и превосходною гармониею, заставлявших удивляться всех иностранцев, из числа которых нашелся даже один англичанин-эксцентрик, приехавший нарочно в Петербург из своего туманного Лондона, чтобы взглянуть на прелестную решетку Летнего сада и послушать Нарышкинский хор. Во-вторых, Дмитрий Львович имел и другие права на знаменитость, а именно: супруга его, прелестнейшая из прелестнейших женщин, столь известная Марья Антоновна, пользовалась особенным вниманием императора Александра Павловича.

Марья Антоновна Нарышкина имела какую-то странную антипатию к графу Алексею Андреевичу Аракчееву и постоянно и резко проявляла перед государем свое нерасположение к «выслужившемуся гатчинскому фельдфебелю», как называла она графа.

Антипатия эта доходила до такой степени, что в гостиной Марьи Антоновны имя Аракчеева считалось контрабандой, никто никогда не осмеливался произносить его, и примером такой сдержанности служил сам государь, ежедневно бывавший у очаровательной «Армиды», как называли Марью Антоновну тогдашние льстецы.

В свою очередь и Аракчеев всею силою своей души ненавидел Марью Антоновну, благодаря влиянию которой многое в государственной машине, им управляемой, делалось помимо его воли.

Не имея возможности отслеживать государя Александра Павловича в его Капуе, то есть на даче у Нарышкиных, граф Алексей Андреевич в то время, когда государь проводил время в обществе Марьи Антоновны, то беседуя с нею в ее будуаре, то превращаясь в послушного ученика, которому веселая хозяйка преподавала игру на фортепиано, то прогуливаясь с нею в ее раззолоченном катере по Неве, в сопровождении другого катера, везшего весь хор знаменитой роговой музыки, царский любимец нашел, однако, способ не терять Александра Павловича из виду даже и там, куда сам не мог проникнуть.

Мало чувствительный к какой бы то ни было музыке, Аракчеев – искренно или нет – очень жаловал нарышкинскую роговую музыку и от времени до времени жители Петербургской стороны, особенно Зеленой улицы, видали летом под вечер едущую мимо их окон довольно неуклюжую зеленую коляску на изрядно высоком ходу; коляска ехала не быстро, запряженная не четверкою пугом, как все ездили тогда, а четверкою в ряд, по-видимому, тяжелых, дюжих артиллерийских коней.

В коляске на заднем месте помещался скучный, неуклюжий генерал, в высокой шляпе по форме с черным султанчиком, а на передке перед ним молодой сухопарый офицер в шляпе также с черным султанчиком, что означало пехотинца.

Генерал, по-видимому, от времени до времени что-то говорил, глядя в упор на сухопарого, жиденького офицера с острым ястребиным носом и вообще какою-то птичьей физиономией.

И адъютант, как заметно было, что-то отвечал, почтительно приподымая за угол свою шляпу, обращенную углами взад и вперед, между тем как углы генеральской шляпы были над плечами.

Эти генерал и офицер были: граф Алексей Андреевич Аракчеев и капитан лейб-гвардии гренадерского полка Петр Андреевич Клейнмихель, крестник графа Аракчеева, часто сопутствовавший ему в его прогулках, заменяя адъютанта, назначение которым состоялось в 1812 году, по переводе его в Преображенский полк.

Алексей Андреевич отправлялся, таким образом, на Зиновьевскую дачу, чтобы оттуда слушать Нарышкинскую роговую музыку, звуки которой неслись или с Нарышкинской дачи, или с катеров, в которых каталась Марья Антоновна.

Аракчеев сиживал обыкновенно на балконе Зиновьевской дачи или на береговой террасе, уставленной мраморными вазами с росшими в них кустами алых, белых и желтых роз и оттуда, невидимый с катера, прикрытый густотою растений, зорко наблюдал за всеми движениями своего – как он называл государя Александра Павловича – «благодетеля».

На другое утро Аракчеев при докладе, находил время довольно ловко и всегда желчно сказать что-нибудь колкое насчет отношений Александра Павловича к Марье Антоновне.

Достойно внимания однако, что император, тогда еще во всем цвете молодого возраста, принимал все эти бутады своего верноподданного друга всегда с улыбкою.

XXVI

Ritter spiel

По берегу Крестовского острова, восемьдесят лет тому назад, при звуках военных оркестров, с одной, то есть с сухопутной стороны и роговой придворной музыки, несшейся или с реки, или с противоположной Нарышкинской дачи, прогуливался, смело можно сказать, весь Петербург *de la hante volee*, самого высшего, блестящего общества. Это происходило в будни в течение целого лета.

По воскресеньям же Крестовский остров делался центром сближения всего немецкого петербургского населения, часть которого угощалась в обширном деревянном трактире, находившемся на берегу, совершенно напротив Зиновьевской дачи, где был перевоз от конца Зеленой улицы, так как в те времена о Крестовском мосте и помину не было. Другая же часть публики обыкновенно привозила с собою корзины с различной домашнею провизией, которые были переносимы с яликов и ялботов на берег различными домочадцами ремесленно-патриархального быта, состоявшими, преимущественно, из мальчишек, большею частью босоногих, в полосатых тиковых халатах.

Эти таборы покрывали почти весь склон берега, где дымились самовары, кипели кофейники, распространявшие на изрядное пространство запах жженого цикория, и где было разливное море пенящегося пива, в те благословенные времена общей дешевизны продававшегося чуть ли не за три копейки медью бутылка.

По воскресеньям, против трактира гремели оркестры, то военный, то так называемый балльный, и под звуки последнего, когда он играл, например, какой-нибудь любимый немецкий вальс на голос: «*Ah, du mein lieber Augustin!*», некоторые особенно ярые любители танцев пускались даже в самый отчаянный пляс на эспланаде, усыпанной довольно крупноватым песком.

Кроме того, здесь в разных местах были различные качели. На берегу, или около той части берега, которая выходила напротив дачи графини Лаваль, стояли летние деревянные горы, с которых беспрестанно слетали колясочки или кресельцы на колесцах, и на них сидели большею частью пары, причем дама помещалась у кавалера на коленях и притом всегда жантильничала, выражая жантильность эту криками и визгами, между тем как кавалеры, обнаруживая чрезвычайную храбрость при слетании колесных саночек с вершины горы, заливались истерическим хохотом и сыпали бесчисленное множество немецких вицов, в остроумности которых вполне убеждены были их творцы, молодые булочники, сапожники, портные, слесари и прочие.

Но самое большое и истинно изящное удовольствие именно этой молодежи было их *Ritter Spiel*, то есть рыцарская игра, которой немцы крайне дорожили. Она состояла в следующем: подле трактира, по одной с ним лицевой линии, построен был какой-то павильон с восемью длинными, горизонтальными окнами, поставленными, впрочем, очень высоко. Крыша была в виде купола, также вся в окошечках, дававших свет в обширную, круглую ротонду, вдоль стен которой находилось восемь столбов, и на этих столбах какие-то крюки, поддерживающие сделанные из папки турецкие и арабские головы в чалмах. Посреди ротонды круглый, возвышенный пол вертелся посредством оси, соединенной внизу с рычагом, с помощью которого пол приводился в движение бегающими под ним, впряженными в построики, лошадьми.

На этом вертящемся полу или барабане были поставлены шесть деревянных коней, каждый в разнообразной позитуре, но все в такой, однако, чтобы все четыре ноги непременно упирались в пол. Все эти шесть лошадей, в натуральный рост, были тщательно выкрашены, снабжены гривами, челками и хвостами из настоящих конских волос. Сверх того, они

были замундштучены настоящими мундштуками и оседланы английскими седлами с разнообразными чапраками, красными, голубыми, зелеными, желтыми, медвежьими и тигровыми. Независимо от различия по чапракам, деревянные кони различались и мастями. Так, один конь был как смоль вороной, с огромной белой лысиной, в белых же чулках; другой – словно снег белый, такой белый, какие в природе едва ли встречаются; третий – серый, в стальных, голубоватых яблоках, с черным волосом на хвосте и гриве; четвертый – гнедой; пятый – красно-рыжий; шестой – соловой, то есть желто-оранжевый с белым волосом.

Это и был затейливый карусель для рыцарской игры.

Молодые немцы садились на этих величественных коней, вооружались дротиками или палашами, подвязанными у седла каждого коня, восклицали: «гоп!» и пол начинал свое вращательное движение, увлекая и коней, и всадников, которые с большею или меньшею ловкостью, сидя на деревянных конях, сшибали кольца, привинченные на крюках, и нанизывали их на свои шпаги и дротики, а потом упражнялись в сшибании турецких и черных негритянских или арабских голов.

Таковы были незатейливые развлечения того времени.

XXVII

Встреча с Аракчеевым

В один светлый петербургский вечер в июне месяце 1805 года, множество яликов и ялботов реяло по Неве от пристани в конце Зеленой улицы к той пристани, которая была на Крестовском острове, насупротив Зиновьевой дачи, почти на том самом месте, где теперь тянется длинный деревянный Крестовский мост.

День был не праздничный, но многим петербургским жителям и дачникам окрестностей «деревянной мостовой», то есть Зеленой улицы, хотелось подышать чистым воздухом, людей посмотреть и себя показать, услаждая слух роговой музыкой Нарышкинского хора.

Беспреданно более или менее нарядная и щеголеватая публика сходилась с причаливших яликов.

В одном из таких яликов прибыл на остров и Федор Николаевич Хомутов с дочерью.

Они тихо стали прогуливаться по берегу, вдыхая с наслаждением ароматный воздух, разглядывая нарядную толпу гуляющих и прислушиваясь к нежащим слух, несшимся с реки звукам музыки.

Старик Хомутов с радостью замечал, что прогулка развлекает Талечку, она оживленно беседовала с отцом, расспрашивала о встречающихся незнакомых ей лицах, раскланивавшихся с Федором Николаевичем, на лице ее появилось даже резкое за последнее время одушевление, а на губах заиграла давно невиданная улыбка.

Вдруг на острове произошло необычайное движение. Пестрая толпа бросилась по направлению к карусели, около которого была уже масса любопытных.

Из уст в уста таинственно передавалось имя Аракчеева.

— Граф Аракчеев накрыл офицеров, — говорили в толпе.

Федор Николаевич и Талечка, как раз были в это время около этого павильона и, укрываясь от хлынувшего на них народа, должны были войти в открытые настежь двери Ritter Spiel'я.

Там действительно были, кроме пробравшихся ранее любопытных, граф Алексей Андреевич Аракчеев и Петр Андреевич Клейнмихель.

Перед всесильным графом стояли на вытяжку четыре молоденьких, видимо, недавно выпущенных гвардейских офицера. По их бледным, растерянным лицам видно было, что они перепугались не на шутку.

— Хорошо, очень хорошо! — гнул более обыкновенного, видимо, раздраженный граф, — молодцы гвардейцы, достойно ведут себя, поддерживают честь мундира, на деревянных лошадках с пьяных глаз катаются. Завтра же доложу государю. Порадую его их воинскими подвигами.

Оказалось, что четверо гвардейских офицеров, приехав на Крестовский остров и не желая заходить ни в трактир, ни сесть за один из столиков на площадке перед трактиром, забрались в пустой карусель и приказали подать туда шипучки. За одной бутылкой последовала другая, затем третья и четвертая. Юношеские головы закружились и один из офицеров предложил заняться рыцарской игрой. Предложение было принято и офицеры засели на коней, приказав наглухо запереть павильон и пустить в ход барабан. Невинная забава могла бы кончиться благополучно, если бы на грех в это самое время на Крестовский остров не переправился с Зиновьевской дачи в парадном ялботе граф Аракчеев вместе с Клейнмихелем.

Проходя мимо карусели и услышав в нем шум и голоса, он поллюбопытствовал взглянуть на упражняющихся в рыцарскую игру и прямо пошел к двери.

Перепуганный насмерть сторож из отставных солдат преградил ему путь.

– Занято, ваше сиятельство, господами офицерами, – бухнул он.

– Офицерами! – повторил граф. – Отворяй, посмотрю я, что это за воины и хорошо ли они на деревянных конях выглядывают.

Сторож не осмелился ослушаться приказания графа. Двери павильона открылись, и на их пороге появился Аракчеев и Клейнмихель.

Ход барабана был остановлен спустившимся вниз сторожем.

Не успели несчастные офицеры соскочить с коней, как граф грозно крикнул:

– Ни с места! Пустить ход!

Пол снова завертелся.

– Быстрей, быстрей, – командовал Алексей Андреевич.

Началась бешеная скачка четырех гвардейцев на деревянных лошадях.

Насладившись этой картиной, граф приказал остановить ход и, как мы видели, начал распекать молодых людей.

– Извольте отдать ваши шпаги... Клейнмихель... возьми... На гауптвахту... до решения государя...

Еле живые от страха ожидающей их участи офицеры повиновались.

Граф Алексей Андреевич повернулся к выходу и встретился лицом к лицу со стоявшим в дверях карусели под руку с дочерью Федором Николаевичем Хомутовым.

Добродушный и честный старик был возмущен строгостью графа и решил выступить защитником молодых людей, тем более, что Талечка жалобно прошептала ему на ухо: «Бедные!»

Алексей Андреевич сталкивался с генералом еще во время его службы и очень был памятливым на лица – он узнал его.

– А, ваше превосходительство, вы здесь тоже, чай, любовались подвигами представителей царевой гвардии! Это не то, что мы, армейцы... ничего не стоящие... это настоящие воины, защитники отечества.

Граф не любил гвардейцев, шаркунов, как он называл их, и с наслаждением каждый раз, при малейшем поводе, изливал на них свою желчь.

– Вы, вероятно, пошутили, ваше сиятельство, ведь они же совсем мальчишки и совершили только детскую шалость, за что же подводить их под гнев государя. Простите их, ваше сиятельство! – прерывающимся от волнения голосом заговорил Хомутов.

Граф бросил было на него грозный взгляд своих тусклых глаз, но этот взгляд встретился с глядевшими на него с мольбой глазами Талечки.

– Дочь? – вопросительно прогнусил он, кланяясь Наталье Федоровне.

– Так точно, ваше сиятельство, дочь Наталья.

– Благодарите, господа, – обернулся граф к все еще стоявшим на вытяжку безоружным офицерам, – этого армейского генерала-ветерана, ради него я прощаю вас. Клейнмихель, возврати шпаги.

Лица юношей просияли, и они, сделав фрунт перед Аракчеевым и Хомутовым, быстро выскользнули из павильона.

Алексей Андреевич снова обратился к Федору Николаевичу, глядя, впрочем, на его дочь.

– Замуж пора выдавать, вывозить надо, женихов к себе приглашать.

– Молода еще, ваше сиятельство.

– Какой молода, в самой поре. Говорю, женихов приглашать надо, ваше превосходительство, и меня зовите, я тоже жених.

– Сочту за честь, ваше сиятельство.

– Вы на Васильевском?

– Точно так.

– Буду!

Они расстались.

По возвращении с прогулки Федор Николаевич передал своей жене о встрече и разговоре с графом Аракчеевым.

– Вот бы на самом деле жених Талечке, не чета Зарудину... – заговорила она.

– Полно пустяки болтать, – остановил ее муж, – его сиятельство, конечно, только пошутит.

XXVIII

Слабость сильного

Но «его сиятельство» далеко не шутил.

Хорошенькое, блистающее невинностью личико, стройная, прекрасно сложенная фигура Натальи Федоровны не могла не произвести сильного впечатления на сорокалетнего сластолюбца. Среди женщин его общества он встретил впервые такой нежный, но роскошный цветок, остальные петербургские барышни того времени были какими-то тепличными растениями, казалось, преждевременно увядающими.

По обязанности беспристрастного бытописателя мы должны отметить довольно грустную черту в характере графа Алексея Андреевича Аракчеева – этого выдающегося деятеля двух царствований – он был до болезненности равнодушен к женщинам. Всякое красивое, выразительное лицо женщины производило на него магическое действие. Значительная часть библиотеки этого государственного человека состояла из книг и сочинений далеко не целомудренного содержания. Он воплотил даже свою любовь к пикантности в особого рода постройке. Он построил у себя в усадьбе особый павильон и наполнил его соблазнительными картинами, которые закрывались зеркалами, отворявшимися посредством потайных механизмов. Павильон этот стоял уединенно на острове, окруженном прудами. Только самым избранным своим приятелям граф показывал внутренность устроенного им причудливого павильона, который в отсутствие его был совершенно недоступным. Алексей Андреевич не пренебрегал и покупками красивых крестьянок, чем-нибудь обративших на себя его внимание. Это, впрочем, было в нравах того времени и проделывалось большинством современных ему помещиков.

Другую странностью этого железного характера, несомненно вытекавшую из его сластолюбия, было его отношение к законному супружеству. Он не питал никакого уважения к браку; даже пренебрегал им. Брак для него имел значение, главным образом, внешнее, он рассматривал его с физической стороны. Как помещик, он особенно заботился о том, чтобы у него было более рабочих крепостных рук, почему терпеть не мог в своей вотчине холостых и вдовых крестьян. Обыкновенно 1 января каждого года ему представляли списки их с обозначением лет. Одновременно с этим ему подавался и список девушек, которым он делал смотр. В поданных списках граф собственноручно делал отметки, кому следует вступить в брак. Он также любил, чтобы у него рождались только мальчики, и женщинам, рождавшим девочек, угрожал даже штрафом.

Вследствие такого взгляда на супружество, он выбирал своих фавориток из низшего общественного круга, и сам оставался холостым, несмотря на то, что ему было, как мы уже сказали, около сорока лет. Это обстоятельство сильно беспокоило его мать, которой он был любимым детищем и предметом ее гордости. В письмах к нему она употребляла все свое красноречие, чтобы убедить его жениться, но убеждения матери действовали мало.

Много на деятельности графа Алексея Андреевича темных пятен, положенных как современниками, так и потомками, много, как мы уже сказали выше, в тех пятнах незаслуженной им клеветы, но много также и достоверных фактов.

Этими последними он всецело обязан своей слабости к женщинам. При изыскании причин его подчас жестоких и несправедливых распоряжений, его кровавой расправы с подвластными ему людьми, надо применять правило французских криминалистов: «ищите женщину».

Для удовлетворения его болезненной чувственности у него всегда находились под руками женщины, частью среди самой его дворни, частью же на стороне.

Еще в царствование Павла I он скомпрометировал себя незаконной связью с женой синодского секретаря Пукалова, которая, пользуясь своим исключительным положением, много обдeldывала делишек в свою пользу.

Пукалов был сын крестьянина и воспитывался в одном училище с сыном помещика Горленки; затем служил сельским писарем и отличался пьянством.

Горленко пристроил его в черниговский почтамт, а потом отправил в Новгород писцом в комиссию для разбора старинных дел. Получив чин, Пукалов перемещен был, по закрытии комиссии, в синод.

Самая женитьба Пукалова устроилась следующим образом: один помещик перед смертью женился на своей любовнице и оставил ее дочери все свое состояние.

Наследники подняли дело, но Пукалов уничтожил в местной канцелярии, пользуясь подкупом и своим положением синодского секретаря, метрические книги, единственное доказательство справедливости, и истцы проиграли дело.

Он же, по ранее заключенному условию, женился на незаконной дочери умершего помещика, которая сама сделалась любовницей Аракчеева.

Кроме Пукаловой, у графа было много других наперсниц, которые тоже, конечно, не забывали себя, пользуясь его всемогущим именем.

Несомненно, повторяем, что это была грустная черта в характере Алексея Андреевича, но, увы, он был человек, которому присущи слабости, а это, кроме того, была слабость сильного.

Едва ли за нее можно забрасывать его имя потоками грязи.

Тем более, что граф сам сознавал свою позорную слабость, что ярко выражалась в том, что, несмотря на роковое влияние на него женской красоты вообще и некоторых представительниц прекрасного пола в особенности, к женщинам в общем он относился озлобленно: любимой тенденцией его по адресу правнучек праматери Евы было следующее:

– Всякая девка – щенок, а всякий щенок – будущий пес. И всякая-то баба – завсегда пес.

Лет десять тому назад, в доме Аракчеева появилась дворовая женщина – горничная и вскоре сделалась барской барыней.

Алексей Андреевич, тогда еще простой смертный, но уже любимец великого князя Павла Петровича, жил, однако, как холостой человек.

Поселившаяся на этот раз в его доме новая фаворитка, возведенная в звание экономки, была, как видно, не чета прежним. Она была молода и красива, а главное, хитра и лукава.

Вскоре барин и все люди почуяли, что эту женщину не скоро сменит другая – новая.

И все не ошиблись.

Никакой другой экономке уже не суждено было явиться на смену этой.

Эта новая экономка была Настасья Федоровна Минкина, вскоре ставшая правой рукою во всех делах Алексея Андреевича и первым самым дорогим его другом.

Когда в следующем 1796 году великий князь Павел Петрович, сделавшись уже императором, подарил возведенному им в баронское, а затем графское достоинство и осыпанному другими милостями Аракчееву село Грузино с 2500 душами крестьян, Алексей Андреевич переехал туда на жительство вместе с Настасьей Федоровной и последняя сделалась в нем полновластной хозяйкой, пользуясь неограниченным доверием имевшего мало свободного времени, вследствие порученных ему государственных дел, все сильного графа, правой руки молодого государя, занятого в то время коренными и быстрыми преобразованиями в русской армии.

XXIX

Грузино

Особые царские милости посыпались на Алексея Андреевича Аракчеева с момента вступления на прародительский престол государя Павла Петровича.

Приехав в Петербург по смерти Екатерины, император тотчас же вытребовал к себе из Гатчины полковника Аракчеева.

Тот прискакал, и как был с дороги, не переодевшись, явился в кабинет нового государя.

Там он застал наследника престола, Александра Павловича.

Павел Петрович тотчас же произвел Аракчеева в генералы и назначил петербургским комендантом; цесаревич же был назначен петербургским военным губернатором.

Павел Петрович приказал им стать рядом, соединил их руки и сказал:

– Будьте же друзьями и помогайте мне!

С этого момента началась дружба Аракчеева с наследником престола, а затем государем Александром Павловичем. Они оба в одно время вышли из кабинета государя.

– Ты весь в грязи, – обратился к Алексею Андреевичу цесаревич, – пойдем ко мне, я тебе дам свою рубашку, перемери.

Впоследствии Аракчеев выпросил эту рубашку себе в подарок и хранил ее в Грузине в особом сафьяновом футляре, как святыню.

Затем Павел Петрович, как мы уже знаем, возвел своего любимца сперва в баронское, а затем в графское достоинство и подарил ему село Грузино, принадлежавшее когда-то, по жалованной грамоте Петра Великого, светлейшему князю Меншикову, и отошедшее вновь в казну, после опалы и ссылки этого вельможи.

Село Грузино находится в восьмидесяти верстах от Новгорода, на берегу реки Волхова. Ближайшая дорога пролегла в то время туда из Соснинской волости, по левому пологому берегу Волхова. Вообще местность эта на протяжении нескольких верст была самая пустынная и унылая: слева тянулся лес, по краям которого мелькали кое-где корявые дубы, стога сена, паслись кони и разве попадались какие-нибудь богомольцы, шедшие в Тихвин. Самая река также не была оживлена, разве порою проносилась на парусах тихвинка. Тем приятнее был поражен глаз, когда вдали на повороте Волхова начинали показываться и обрисовываться грузинские постройки. Но вот и паром: за рекой видны прекрасные каменные здания.

Название Грузино, по некоторым историческим источникам, местность получила от бывшей здесь пристани, на которой грузились суда. Другие ищут начало этого названия в более отдаленных преданиях; так, протоиерей Малиновский в своем «Историческом описании села Грузина», изданном в 1816 году, говорит: «Сие место, возникнувшее из-под праха и пепла, славится в древности посещением первого в России проповедника Евангелия, святого апостола Андрея Первозванного», и объясняет, что название Грузино есть измененное Друзино, а последнее произошло от того, что на этом месте святого апостол Андрей Первозванный водрузил свой жезл или посох.

В описываемое нами время в селе Грузине царил образцовый порядок – там сам граф входил положительно во все, и кроме того, за всеми глядел зоркий глаз графской экономки Настасьи Федоровны Минкиной. На улицах села была необыкновенная чистота, не видно было ни сору, ни обычного в деревнях навозу, каждый крестьянин обязан был следить за чистотой около своей избы, под опасением штрафа или даже более строгого наказания.

Господский дом, или, как называли его, дворец, был небольшой, деревянный. На нем с восточной стороны была надпись: «Мал, да покоен». Он стоял в конце глубокого двора, а с остальных трех сторон его окружал роскошный и тенистый сад.

Чистота двора и сада была изумительна.

Любовь к порядку, унаследованная графом Алексеем Андреевичем от его матери, доходила у него до самых ничтожных мелочей.

Не только во время краткого нахождения Аракчеева не у дел, но и в период бытности его у кормила правления, граф, несмотря на его многосложные обязанности, сопряженные с необыкновенною деятельностью и бессонными ночами, успевал замечать всякие мелочи не только по службе, но и в домашнем быту; он имел подробную опись вещам каждого из его людей, начиная с камердинера и кончая поваренком или конюхом.

По этим спискам поверял он каждый год все имущество, приказывал кое-что переделывать, починить или вовсе уничтожить.

Кроме этого, Алексей Андреевич вел ежегодно штрафной журнал, в который аккуратно вписывались все малейшие провинности дворовых людей и крестьян, причем три малых вины считались за одну большую, которая и влекла за собой наказание, отмечаемое графом в отдельной рубрике журнала.

От всех частей и лиц вотчинного управления аккуратный помещик требовал суточных рапортов, которые просматривал лично, хотя бы за его отсутствием из Грузино их накопилось бы большое количество, и клал те или другие резолюции.

Во время таких отлучек Алексея Андреевича из Грузина и пребывания его в Петербурге, ему обо всем происходившем в усадьбе отписывала Настасья Федоровна.

Зная аккуратность своего сановитого возлюбленного, она, как ей это ни было тяжело, выучилась писать, хотя, конечно, далеко не искусно, и в угоду графу, требовавшему, во имя идеи порядка, еженедельных рапортов по всем частям вверенного ей управления своим поместьем, хотя каракулями, но аккуратно отправляла ему собственноручные иероглифические отчеты.

Из сохранившихся и попавших в печать писем видно, что они касались даже разбитой тем или другим из служащих посуды, произведенной у того или другого крестьянина мелкой покражи.

И все это граф внимательно прочитывал, а по поводу всего ему донесенного делал свои распоряжения.

Вот какими мелочами занимался этот государственный человек, но он хотел этим показать, что его хватит на все.

Все это, однако, вместе с тяжестью служебных дел, влияло сильно на его здоровье – он страдал расстройством всей нервной системы, застоем печени и рефлексивным страданием сердца; от этого происходили его мнительность, недоверчивость, бессонные ночи, тоска и биение сердца.

Хотя вспыльчивость иногда и доводила графа до исступления, но злопамятным и мстительным к людям, ниже его стоящим, он никогда не был. Это подтверждают записки о нем многих близко знавших его людей, даже далеко ему не симпатизировавших.

Граф был необыкновенно впечатлителен; так, при рассказе о какой-нибудь печальной истории, он, бывало, прослезится, но, заметив, что у какой-нибудь десятилетней девчонки дорожка в саду не так чисто выметена, в состоянии был приказать строго наказать ее, но, опомнившись, приказывал выдать ей пятак.

Вообще, если он был в хорошем расположении духа, то имел обыкновение награждать исправных хозяек-крестьянок за чистоту пяточками, и эту награду ценили как царскую милость.

Часто, во время бессонных ночей, граф, переодетый и замаскированный, ходил по Грузину, наблюдая за порядками в селе, нравами своих крестьян и выполнением его приказаний.

Таков был владелец Грузина и таковы были порядки в этой, как называли Грузино современники, «столице Аракчеева».

XXX

Настасья Минкина

Как о происхождении, так и о первоначальном знакомстве Алексея Андреевича с Настасьей Федоровной Минкиной, исторические источники говорят и мало, и разн.

Сообщениям М. Бороздина, называющего в своих воспоминаниях Настасью Федоровну женою мелочного торговца в деревне Старая Медведь мещанина Минкина, куда-то незаметно исчезнувшего, после чего она из лавочки перебралась в дом графа и сделалась его сожительницею, и Беричевского, считающего Настасью Федоровну женою грузинского крестьянина, кучера, которого она, когда граф возвысил ее до интимности, траكتовала свысока и за каждую выпивку и вино водила на конюшню и приказывала при себе сечь, – нельзя выдавать за вероятное, так как, по другим источникам, Аракчеев сошелся с Минкиной еще до пожалования ему села Грузина.

Местные простонародные предания представляют дело несколько в ином виде. На расспросы о том, откуда была родом Настасья, старики села Грузина говорят:

– Бог ее ведает, откуда она проявилась такая, только не из нашего места была, а дальняя, откуда-то вишь из-за Москвы. В своем месте, как сказывают, спервоначалу просто овчаркой была, овец, значит, пасла; а опосля, как граф ее купил, так туман на него напустила и в такую силу попала, что и не приведи Господи.

Из всех рассказов о Настасье можно с достоверностью сказать разве только то, что она была крестьянка, приобретенная Аракчеевым путем покупки, и вовсе не была замужем. По словам Н. Отто, отец Настасьи, Федор Минкин, чуть ли не цыган родом, был кучером.

О цыганском происхождении Настасьи Федоровны красноречиво свидетельствует и ее наружность.

Ей в то время, когда Алексей Андреевич купил ее, было всего шестнадцать лет и она находилась в полном расцвете своей красоты. Ее черные как смоль волосы, черные глаза, полные страсти и огня, смуглый цвет лица, на котором играл яркий румянец, ее гренадерский рост и дебелость вскоре совсем очаровали слабого до женской красоты Аракчеева.

Кроме своей красоты, Настасья сразу же понравилась графу своею расторопностью и аккуратностью. О ней прежние графские слуги отзывались:

– Нельзя сказать, чтобы она была из лица больно красовита, а смуглая такая из себя, быстроглазая, глаза большие, черные были, как у цыганки, больше проворством и расторопностью брала.

Бойкая и сметливая женщина, Настасья скоро поняла загадочный для других характер своего угрюмого барина, изучила его вкусы и привычки и угадывала и предупреждала все его желания. Она получила звание правительницы на мызе Аракчеева и благодаря ей здесь водворились образцовые порядки и замечательная аккуратность по всем отраслям сельского хозяйства. Как домоправительнице, при переезде в Грузино Настасье назначено было большое жалованье и она скоро вошла в большую силу при графе.

Таким образом вышло довольно странное и любопытное в то же время явление: простая, необразованная женщина-крестьянка успела подчинить себе железный характер графа, могущественного вельможи в государстве. Последний исполнял все ее капризы; так, в угоду ей, например, выстроил дорогой мост через овраг, разделяющий селения Старую и Новую Медведь, для нее же построил особый флигель, с наружною резьбою и зеркальными стеклами, своим изяществом невольно обращавший на себя внимание всякого зрителя, тем более, что остальные постройки Грузинской мызы отличались самою простою архитектурою и даже были окрашены в желтый цвет.

Простой народ никак не мог понять и разъяснить себе пристрастие богатого и сильного вельможи к простой крестьянке и объяснял это, по-своему, колдовством и волшебством со стороны Настасьи.

До сих пор еще память этой женщины живо сохранилась в Грузии и передаются из уст в уста разные легенды об этой фаворитке графа Аракчеева.

Так, крестьяне уверяют, будто у Настасьи была какая-то волшебная собачка, которая могла сослужить ей всякую службу. Предания грузинских крестьян и самую Настасью рисуют не иначе как ведьмой или колдуньей. В подтверждение этого крестьяне ссылались на то, что некоторые из доверенных ей мужиков тихонько собирали для нее, по ее указанию, каких-то гадов, которых она варила и употребляла как одно из средств ворожбы. По словам некоторых обывателей, к Настасье по временам прилетал змей и нашептывал ей что-то на ухо.

Граф и его экономка, таким образом, относительно были счастливы, но для полноты этого счастья являлась одна помеха... этого не могли дать ни всемогущество, ни власть... Тридцатилетнему графу Аракчееву хотелось иметь сына, наследника всего, что вдруг получил он по милости государя.

В 1799 году Настасья Федоровна порадовала его и этим. Перед одной из отлучек его на долгое время из Грузина, она объявила ему, что она беременна уже на последнем месяце. Ее фигура красноречиво подтвердила ее слова.

Веселый и радостный уехал граф в Петербург.

Это было в последних числах сентября.

Здесь ожидала его крупная неприятность по службе, окончившаяся его увольнением. Дело заключалось в следующем. В артиллерийском арсенале хранилась старинная колесница для артиллерийского штандарта. Она была обита бархатом и выложена золотым галуном и кистями. Один артиллерийский солдат, найдя возможным пробраться сквозь довольно редкую решетку окна, обрезал галун и кисти и унес их незаметным образом от стоящего при том здании караула. В то время ни один малейший случай не мог скрыться от императора Павла и Аракчееву, по званию петербургского коменданта, надо было донести об этом государю. Но Аракчеев поставлен был в затруднение – родной брат его, Андрей Андреевич, командовал тем артиллерийским батальоном, от которого находился караул при арсенале во время случившейся покражи. Однако медлить было нельзя, а приехавший брат чуть не с рыданиями умолял пощадить его. Родственное чувство единственный раз в его жизни взяло верх над служебным долгом и Аракчеев донес ложно государю, что во время происшествия содержался караул от полка Г. Л. Вильде.

Павел Петрович не замедлил исключить Вильде со службы.

Генерал этот, изумленный внезапно немилостью государя, обратился к графу Кутайсову, объяснив несправедливость и клевету Аракчеева. Кутайсов был в то время в ссоре с последним и потому поспешил открыть истину государю.

В тот же вечер был у государя бал в Гатчине.

Аракчеев, ничего не подозревая, явился во дворец, но лишь только Павел завидел его, то послал через флигель-адъютанта Котлубицкого приказание графу ехать домой.

На следующее утро последовал высочайший приказ, коим граф Аракчеев был выброшен из службы за ложное его величеству донесение.

Приказ этот как громом поразил Алексея Андреевича. Совершенно упавший духом, в страшном отчаянии он поехал к Грузино.

Петербургские враги его торжествовали.

Но на смену печали графа ждала радость. На половине пути к Грузину с ним встретился гонец, который сообщил ему, что Настасья Федоровна благополучно разрешилась от бремени мальчиком.

Восторг графа был неопишум.

Забыта была царская опала, забыто было торжество врагов, и граф в самом радужном настроении прибыл в Грузино и взял в дрожащие от радостного волнения руки своего первенца.

Ребенка окрестили и назвали Михаилом. По выбору Настасьи Федоровны, к нему была приставлена мамка, которую все в доме стали звать Лукьяновной.

После появления Миши Алексей Андреевич стал еще внимательнее к своей сожительнице. Он рядил ее как любимую куклу и возил по селу и окрестным деревням в щегольском экипаже. Простой народ с удивлением и любопытством смотрел на фаворитку, которую теперь часто стали звать графиней.

Аракчеев окружил своего сына необыкновенною заботливостью и, очутившись не у дел, живя вследствие этого безвыездно в своей вотчине, всецело предался устройству своего имени и отцовским радостям.

Так продолжалось до принятия его вновь на службу, уже в царствование императора Александра Павловича 14 мая 1803 года.

Тогда поневоле снова начались долгие служебные отлучки из приведенного, впрочем, в образцовый порядок Грузина.

XXXI

Роковое открытие

В то время, к которому относится наш рассказ, маленькому Мише уже шел шестой год. Лукьяновна из мамок преобразилась в няньки.

На дворе стояли первые числа мая.

Граф приехал на несколько дней в Грузино.

Гуляя по саду, он вдруг был остановлен прибежавшим ему навстречу Мишей, заливавшимся горькими слезами.

– Что с тобой, Мишук? – нежно спросил его граф.

– Не вели Степану ругаться, его маменька вчера велела выпороть, а он нынче меня из конюшни прогнал, говорит: «Пошел ты, нянькин сын». Какой я нянькин сын, я твой и маменькин... – с ревом пожаловался шустрый мальчуган.

Обидевший ребенка Степан был один из графских кучеров.

Алексей Андреевич побледнел.

«Нянькин сын, что это значит?» – пронеслось в его голове.

Взяв за руку сына, он медленно отправился в дом и, приказав ему идти к матери, сам прошел в свой кабинет.

Это была большая комната с низким потолком. В ней за ширмами стояла кровать, у противоположной стены диван и посреди письменный стол, несколько кресел и стульев дополнили убранство.

Алексей Андреевич тотчас же распорядился послать за Степаном.

Последний явился и был, видимо, слегка под хмельком.

– Ты, ракалья, как смеешь обижать моего ребенка и называться его неподобными словами – «нянькин сын» – что это значит?

– Казни потом, батюшка, ваше сиятельство, а дозволю правду тебе молвить, – упал на колени перед графом Степан, – сорвалось по злобе на нее, колдунью проклятую, на твою Настасью...

– Да как ты смеешь, – снова накинулся на него граф, – так называть Настасью Федоровну, которую я уважаю, слышишь ты, я... уважаю, как мать моего сына...

– Казни потом, а выслушай, – продолжал Степан, стоя на коленях. – Провела она, анафемская душа, твою графскую милость, не твой он сын, а Лукьяновны и впрямь нянькин сын...

– Что-о!.. – заорал Аракчеев. – Доказательства, мерзавец, а не то запорю до смерти...

Граф от клокотавшей в его душе злобы захлебывался словами.

– Сам я, батюшка граф, привозил рожать в усадьбу Лукьяновну, сам и пустой гробик в церковь хоронить носил, а ребеночка Настасья Федоровна за своего выдала... Глашка, горничная ее, сказывала, что подушки она подкладывала, чтобы твою графскую милость в обман ввести, вот она какая непутевая, а безвинных людей пороть, на это ее взять, прежде пусть на себе лозы испытает...

Граф не слышал последних слов Степана. Он не сел, а буквально упал в кресло и закрыл лицо руками.

Этого он не ожидал: лелеянный им ребенок оказывается ему совершенно чужим, сыном Лукьяновны, подкидышем. Пьяный кучер разбил все его лучшие мечты и надежды.

Несколько минут в кабинете царила невозмутимая тишина. Степан продолжал стоять на коленях. Наконец, Алексей Андреевич очнулся и захлопал в ладоши.

– Встань! – бросил он одновременно Семену.

Тот повиновался. Явился лакей.

– Позвать ко мне Лукьяновну и Глашку! – отдал граф приказание ему.

Та и другая не замедлили явиться и по произведенной Аракчеевым очной ставке со Степаном сознались во всем и подтвердили его слова.

Дело представилось перед графом в следующем виде. Настасья, узнав о беременности крестьянки одной из деревень Грузинской вотчины, по фамилии Лукьяновой, через преданную ей старуху Агафонию, завела переговоры с этой крестьянкой о том, чтобы взять младенца ее к себе в дом графа на воспитание. Бедная крестьянка охотно или неохотно согласилась. После переговоров с Лукьяновой Настасья Федоровна распустила слух о своей мнимой беременности и разыгрывала эту роль с неподражаемым искусством: она, например, носила подушку, которую постепенно увеличивала для того, чтобы показаться на самом деле беременною. У Лукьяновой родился мальчик. Одновременно с этим распушен был слух о разрешении от бремени Настасьи Федоровны и послан был гонец к графу. Лукьянову взяли в кормилицы к родному сыну, а затем она осталась при нем нянькой. По приказанию же Настасьи Федоровны, в вотчинное управление был написан официальный рапорт о смерти у Лукьяновой новорожденного сына до крещения. Грузинский протоиерей, повинуясь властной графской домоправительнице, похоронил пустой гробик.

Молча выслушал граф показания свидетелей и отпустил их.

Пройдясь несколько раз по кабинету, он отправился к Минкиной.

От всеведущей Настасьи Федоровны не укрылось происшедшее в кабинете графа. Из слов прибежавшего к ней Миши она быстро смекнула в чем дело и приготовилась к встрече своего разгневанного повелителя.

Когда Алексей Андреевич переступил порог ее комнаты, она бросилась к нему в ноги, стараясь обнять его колени.

– Прости, соколик мой ясный, прости, желанный мой, из одной любви к тебе, моему касатику, все это я, подлая, сделала, захотелось привязать тебя еще пуще к себе и видела я, что хочешь ты иметь от меня ребеночка, а меня Господь наказал за что-то бесплодием, прости, ненаглядный мой, за тебя готова я жизнь отдать, так люблю тебя, из спины ремни вырезать, пулю вражескую за тебя принять, испытать муку мученическую... – начала, обливаясь слезами, причитать Настасья Федоровна, стараясь поймать в свои объятия ноги отступавшего от нее графа.

– Замолчишь ли ты, змея подколотная!.. – крикнул граф и хотел ударить ее ногою.

В это время Миша, молча наблюдавший эту сцену, бросился между ними и ею.

– Мама, мама!..

Граф отступил, затем схватил ребенка на руки и поцеловал его крепким, долгим, как бы прощальным поцелуем.

Затем он поставил ребенка около продолжавшей лежать ничком и плакать Минкиной.

– Постарайся хотя на деле быть ему настоящей матерью и заслужить это почетное имя, да и мое прощение надо тоже заслужить... – прохрипел граф и вышел.

Настасья Федоровна встала, утерла слезы и улыбнулась довольной улыбкой. Она поняла, что гроза миновала.

Граф удалился в свой кабинет и три дня не выходил из него, а затем уехал в Петербург.

Вскоре, впрочем, все снова вошло в свою колею. Лесть и пронырство Минкиной сделали свое дело и граф вернул ей свое расположение.

Желание Степана не исполнилось; анафемская душа – Настасья не попробовала лоз. Его самого вскоре за какую-то незначительную вину сдали в солдаты. Глашку сослали на скотный двор. Одна Лукьяновна, вследствие любви к ней Миши, избежала мести снова вошедшей в силу и власть домоправительницы.

Только Миша лишился ласк Алексей Андреевича: последний первое время даже не выносил его присутствия, что Настасья Федоровна хорошо понимала и старалась избавить от него графа.

Роковое открытие графа, впрочем, не осталось без результата. У него появилось намерение жениться, чтобы иметь настоящего законного наследника, и он стал присматривать себе девушку из своего круга, но безуспешно.

Встреча на Крестовском острове с Натальей Федоровной Хомутовой укрепила это намерение.

Из брошенных вскользь графом слов хитрая Настасья Федоровна проникла и в эти затаенные его мысли и стала готовиться к борьбе с новым врагом своим, который явится в лице законной жены ее многолетнего сожителя.

Она понимала, что борьба эта будет трудной, но все же надеялась не остаться побежденной.

Мы увидим впоследствии, ошиблась ли она?

XXXII

Разбитые мечты

Граф Алексей Андреевич очень быстро сдержал свое слово и не далее, как через день после встречи со стариком Хомутовым и его дочерью на Крестовском острове, приехал с визитом на Васильевский остров.

За первым визитом последовал второй, затем третий, а потом не проходило недели, чтобы высокая, известная всем в Петербурге графская коляска не стояла раз или даже два около коричневого домика на 6-й линии Васильевского острова.

Во время этих, всегда коротких, визитов граф очень мало разговаривал с Натальей Федоровной, всегда выходившей к нему по приказанию родителей, беседуя больше с Федором Николаевичем, и только сладко на нее посматривал и смачно целовал здороваясь и прощаясь протягиваемую ему миниатюрную ручку.

Несмотря на это, старики Хомутовы очень хорошо понимали, с какими намерениями всесильный граф Аракчеев зачастил в их скромное жилище и благодарили Бога за выпадающую их дочери высокую долю стать женою первого после государя человека в России.

С величайшим почетом и радушием принимали они у себя своего будущего высокопоставленного зятя. Они ни на минуту не сомневались, что он будет этим зятем, хотя граф даже намеком не высказал своих определенных намерений относительно их дочери.

Сватовство Николая Павловича Зарудина отошло естественно на второй план, старик Хомутов на радостях о предстоящей судьбе своей любимицы дочки забыл о нем.

Незаметно пролетели летние месяцы, наступил сентябрь. Павел Кириллович Зарудин, давно заметивший странную перемену к себе в Федоре Николаевиче с тех пор, как ненавистный ему Аракчеев стал посещать их дом, о чем с торжествующим видом передал ему сам Хомутов, все-таки, по настоянию сына, поехал на Васильевский остров узнать решение судьбы молодого влюбленного гвардейца.

– Выбросил бы ты лучше из головы эту блажь, коли туда этот Аракчей повадился, толку, чую я, никакого не будет, – говорил он сыну.

– Что мне Аракчеев, ведь не жениться он собирается на девочке, которая ему в дочери годится, а если он знаком с их семейством, то в этом я беды не вижу, я его считаю далеко не дурным человеком и полезным государственным деятелем, чтобы о нем там ни говорили...

– Недурным человеком, полезным деятелем! – крикнул рассвирепевший Павел Кириллович. – Не за то ли ты его таким считаешь, что он отца твоего из службы выгнал?

– Ну, это была с его стороны ошибка, он был введен в заблуждение, более виноваты те, кто переносил сплетни, а он ведь тоже человек, за всей Россией один не усмотрит, часто и виноватого за правого примет и наоборот, – спохватился сын.

– Человек... не человек он, а зверь... лукавый зверь... И не знаю, какой ворожкой в сердце он царю влез... Знаешь ли ты, что когда покойный государь Павел Петрович этого твоего полезного деятеля в 1799 году из службы выбросил, то как нынешний государь Александр Павлович, будучи наследником престола, об этом твоём хорошем человеке отозваться изволил? На вахт-параде в этот день весть об отставке Аракчеева радостно пронеслась между всеми. Великий князь прибыл также до начала развода на плац, подошел к генералу и спросил его: «А слышал ты об Аракчееве, и знаешь, кто вместо него назначен?» – «Знаю, ваше высочество, – отвечал генерал. – Образанцев» – «Каков он?» – «Он пожилой человек, может быть, не так знает фронтовую службу, но говорят добрый и честный» – «Ну, слава Богу, – заметил Александр Павлович, – эти назначения настоящая лотерея, могли бы попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев». Вот тебе твой хороший человек и полезный государственный деятель.

– Это сказка, вымысел его врагов, иначе бы он не мог быть другом нашего государя, если бы тот был когда-либо о нем такого мнения! – вспыхнул в свою очередь Николай Павлович.

– Там сказка не сказка, а говорят... – уклончиво отвечал Павел Кириллович.

Разговор перешел на предстоящую поездку последнего к Хомутовым.

– Хорошо, хорошо, завтра съезжу, только повторяю, хорошего не жди ничего. Не из дружбы к старику повадился туда Аракчей, он до баб да девок – ох как падох, бьюсь об заклад, что девчонка защемила ему сердце, если только таковое у него есть...

Молодой Зарудин побледнел.

– Грех так надо мной шутить, отец!

– Я не шучу, а чует мое стариновское сердце, заметил я, что сильно за последнее время изменился ко мне его превосходительство Федор Николаевич. Приготовить-то надо тебя к этому, не молчать же мне, да сразу обухом тебя по голове и ляпнуть...

Николай Павлович понял, что отец на самом деле не шутит, и почувствовал, как похолодело у него сердце. Он и сам только возражал ему, теша себя, а тоже не ожидал от предстоящей поездки отца ничего хорошего, но думал, что лучше дурной конец, нежели томительная неизвестность.

Павел Кириллович поехал на другой день. При повороте в 6-ю линию, ему навстречу попался Аракчеев, ехавший, видимо, от Хомутовых. Старик Зарудин счел это дурным предзнаменованием.

– Хуже, ведь, чем попа встретить! – даже сплюнул он.

Федор Николаевич встретил своего старого друга с какою-то особенно торжественностью. Это произошло оттого, что только что уехавший граф Алексей Андреевич в первый раз закинул ему словечко о том, что ему надоела холостая жизнь и он не прочь жениться.

– Ведь молодая-то, пожалуй, и не пойдет? – лукаво спросил граф, взглянув на Талечку. Та вся вспыхнула.

– За вас-то, ваше сиятельство, за такого молодца, да всякая с радостью! – воскликнул Хомутов.

Дарья Алексеевна горячо подтвердила слова своего мужа. Оба они поняли, что это было почти предложение.

Это-то и было причиной торжественного настроения Федора Николаевича.

После обычных расспросов о здоровье, старик Хомутов не утерпел и заоткровенничал с Зарудиным.

– А у нас, ваше превосходительство, кажись, в доме радость скоро будет!

– Какая? – вопросительно поглядел на него Павел Кириллович.

– Граф Алексей Андреевич не нынче-завтра сделает нам честь и будет просить руки нашей дочери. Он сегодня незадолго до вашего приезда очень прозрачно намекнул об этом.

Зарудин вспыхнул и даже выронил из рук чубук.

– И вы?

– Что же мы, какие же родители откажутся от такого счастья для их дочери?

– Гм! – крикнул Павел Кириллович. – А я, признаться сказать, приехал к вашему превосходительству по поручению сына, вы дали слово.

Федор Николаевич, что называется, опешил, но быстро оправился.

– Какое же слово я дал, ваше превосходительство, я свою дочь в выборе принуждать не буду, а она о Николае Павловиче и думать забыла, с большим вниманием и интересом к графу относится.

– Оправдываться не беспокойтесь, ваше превосходительство, – раздражительно заметил Зарудин, – я ведь только к слову заметил, а мой сын не будет соперником какому-нибудь Аракчееву.

– Позвольте, ваше превосходительство, какой же он какой-нибудь, когда имеет счастье быть другом государя и первым после него лицом в империи.

Павел Кириллович вскочил.

– Пролаз он, гатчинский капрал, выскочка! – крикнул он.

– Вы забываетесь, ваше превосходительство, – в свою очередь вскочил и крикнул Федор Николаевич: – Я сам...

– И вы сами такой же, ваше превосходительство, по тестю и зять, – уже визгливым голосом прокричал красный как рак Зарудин и, схватив шляпу, бросился в переднюю и, не простившись ни с кем, уехал.

Федор Николаевич пришел в себя от оскорбления только через несколько минут.

– И я хорош, кому все выкладывать вздумал, с радости совсем дурака сваял. Отставной губернаторишка тоже... какой-нибудь Аракчеев... мой сын... Тьфу!

Хомутов сплюнул и вскоре успокоился.

Не так скоро успокоился Павел Кириллович. Как буря влетел он в кабинет нетерпеливо, с бьющимся от волнения сердцем ожидавшего его сына и разом выпалил ему весь разговор с «солдафоном» Хомутовым, как называл его старик.

Град всевозможных ругательств по адресу Аракчеева и Хомутовых сыпался неудержимо из уст рассвирепевшего старика, и это продолжалось бы бесконечно, если бы он не заметил, что его сын, весь бледный, как-то неестественно сидит в кресле.

Старик замолчал и бросился к нему. Николай Павлович лежал в глубоком обмороке. Тотчас же послали за доктором, который привел его в чувство и уложил в постель.

К вечеру у молодого Зарудина открылась сильнейшая нервная горячка. Около постели больного, кроме старика отца, все свободное время от службы проводил Андрей Павлович Кудрин.

XXXIII

Мечты Талечки

Наталья Федоровна, со своей стороны, тоже очень скоро догадалась, что, значит, и к чему клонятся такие частые посещения их дома графом Аракчеевым.

Не ускользнули от нее и его взгляды и выразительные поцелуи руки.

После же последнего визита графа, когда он сделал такой прозрачный намек, она окончательно поняла, что догадки ее справедливы.

Первое время эта мысль просто испугала ее.

Почти всегда угрюмый, некрасивый лицом, казавшийся далеко старше своих лет и говоривший в нос, граф Алексей Андреевич не мог, понятно, представлять идеала жениха и любимого мужа для восемнадцатилетней цветущей девушки, каковой была Талечка.

Вскоре, впрочем, мысли молодой девушки приняли другое направление.

С одной стороны она пришла к убеждению, что сватовство графа является единственным средством для нее выйти победительницей из заданной ею себе трудной задачи – отказаться навеки от любимого человека, в угоду своей подруги, вследствие данной ей клятвы.

Не о ниспослании именно такого средства она горячо молилась еще так недавно. Бог, видимо, услышал эту молитву. Он не внял лишь другой. Он не вырвал из ее сердца любви к Зарудину и разлука с ним все продолжала терзать это бедное сердце, что, впрочем, она не выказывала ни перед кем, упорно продолжая избегать даже произносить его имя, и в чем она старалась не сознаваться даже самой себе.

Таким образом, появление в их доме графа Аракчеева казалось для фанатично-религиозной Натальи Федоровны посланной ей помощью свыше, а сам граф – орудием божественного промысла.

В этом смысле она благоговела перед Алексеем Андреевичем.

С другой стороны, она столько слышала о графе Аракчееве, о его служебной карьере, о быстром возвышении из простого артиллерийского офицера до друга и правой руки двух государей, что стала невольно сопоставлять его имя с понятием о великом историческом деятеле.

Отец и мать за последнее время восхваляли при ней его на все лады, как человека и как верного слугу государя, восторгались его государственною деятельностью, направленной исключительно ко благу России, говорили, наконец, о его богатстве, о необычайных порядках, которые он завел в своем обширном поместьи Гruzине.

Последнее мало интересовало Талечку, но первое произвело на нее сильное впечатление.

«Сделавшись женой такого человека, – думала Талечка, – сколько можно сделать добра и добра не единичного, того добра, о котором говорила m-lle Дюран, и которое так увлекательно проповедовал Николай Павлович».

При последнем воспоминании Наталья Федоровна глубоко вздохнула.

«Сколько можно сделать общего добра всему народу, влияя на человека, в руки которого доверием государя вручена судьба этого народа, – продолжала мечтать она далее, – я буду мать сирот, защитница обиженных и угнетенных, мое имя будут благословлять во всей России, оно попадет в историю, и не умрет в народных преданиях, окруженное ореолом любви и уважения».

В таких радужных красках представлялась экзальтированной по воспитанию молодой девушке ее будущая деятельность по выходе замуж за графа Аракчеева.

В этом смысле она даже стала любить его.

Дарья Алексеевна чутким материнским сердцем угадывала, что происходит в сердце и в уме ее дочери и, действуя умно и тактично, не задавала преждевременно прямого вопроса о согласии Талечки на брак с графом, даже после ясного намека последнего. Своему мужу она строго настрого наказала действовать точно так же.

Она понимала, что лучше всего предоставить в этом случае действовать течению времени и событий.

Время, между тем, шло. Прошло уже несколько месяцев, граф продолжал бывать, но не повторял даже намека.

Хомутова стала недоумевать. Федор Николаевич даже однажды высказал свое сожаление о разрыве с Зарудиным.

Дарья Алексеевна рассердилась.

– Вздор болтаешь. Графиней Талечка будет. Он человек серьезный, не вертопрах, не мальчишка какой-нибудь, понимает чай тоже, что жениться не сапог надеть, с ноги не сбросишь. Со своей воздаhtarшей Настасьей хочет, может, исподволь разделаться.

– Говорят, у него от нее сын?

– Что же что сын, незаконный – не сын, обеспечит.

Дарья Алексеевна ушла, видимо, не желая продолжать разговора на эту тему.

Федор Николаевич решил все-таки, когда граф сделает дочери предложение, стороной и деликатно спросить его об этой Настасье. Наступил первый день нового 1806 года.

Граф Алексей Андреевич приехал к Хомутовым прямо после приема во дворце, в полной парадной форме.

– С новым годом, с новым счастьем! – приветствовал он стариков Хомутовых и вышедшую в гостиную Талечку.

– С новым годом, с новым счастьем и вас, ваше сиятельство, – почти одновременно отвечали Федор Николаевич и Дарья Алексеевна.

– Мое новое счастье зависит от вас и еще от одной особы, – торжественно произнес Аракчеев, кинув выразительный взгляд на Талечку, сидевшую на диване около матери, – желал бы иметь сепаратное объяснение.

Старики удалились с графом в кабинет.

Талечка, как сидела, так и замерла на месте. Сердце у ней упало, в глазах потемнело.

Ее вызвал к действительности голос матери, звавший ее присоединиться к ним.

Шатаясь, встала она с дивана и почти бессознательно вошла в кабинет.

– Граф Алексей Андреевич, – торжественным тоном заговорил Федор Николаевич, – сделал нам великую честь и просит твоей руки, мы с матерью согласны, согласна ли ты?

Наталья Федоровна сперва вспыхнула, а потом вдруг страшно побледнела.

Несколько секунд продолжалось молчание.

– Согласна! – чуть слышно, наконец, произнесла она, и если бы мать не поддержала ее, рухнула бы на пол.

С ней сделалось дурно.

– Счастье-то неожиданное нелегко дается, ваше сиятельство! – заметила Дарья Алексеевна, уводя из кабинета почти бесчувственную невесту.

Федор Николаевич с графом остались вдвоем.

Прямой и откровенный старик счел своим долгом рассказать будущему зятю о сватовстве Зарудина и о разрыве с ним, не скрыв даже подробности более полугода тому назад происшедшего домашнего романа, окончившегося болезнью его дочери.

Хомутов думал вызвать этою откровенностью Алексея Андреевича тоже на откровенность, но ошибся.

Выслушав его рассказ, граф издал только какой-то неопределенный звук, но молчал.

Федор Николаевич решил вывести стороною.

– Слышал я, ваше сиятельство, что у вас в Грузине экономка хорошая, – начал он. Аракчеев вскинул на него почти гневный взгляд.

– Экономка... да экономка хорошая, лучше не сыскать... А что в прошлом было, теперь кончено, – буркнул он.

Разговор оборвался, но Хомутов все-таки отчасти успокоился. В кабинет вернулась вместе с матерью оправившаяся Талечка и на предложенный уже лично графом вопрос, вновь выразила свое согласие быть его женою.

Он крепким и долгим поцелуем поцеловал ее руку, протянутую в знак этого согласия. Вскоре он простился и уехал.

Ликованию стариков Хомутовых не было предела. Наталья Федоровна, сожгла свои корабли, и была, по-видимому, покойна и довольна.

Мечты о предстоящей ей благотворной для народа деятельности не покидали ее восторженной головки.

Ей не приходило на мысль, что на открывавшейся ей дороге может неожиданно стать дочь этого народа. О существовании Настасьи Минкиной она не имела никакого понятия.

Несмотря на то, что граф очень спешил свадьбой, все же на приготовление к ней потребовалось более месяца.

Хомутовы тянулись изо всех сил и средств, чтобы сделать их дочери, будущей графине, первой даме в империи, после государыни, великолепное приданое.

Наконец, 6 февраля 1806 года, состоялась свадьба царского любимца, графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой.

Венчание происходило в Сергиевском артиллерийском соборе и совершилось с необычайной помпой; в церкви присутствовал сам государь Александр Павлович и все придворные и высокопоставленные лица империи.

Толпы народа теснились на прилегающих к собору улицах и встречали и провожали как государя, так и его любимца восторженными кликами.

В день свадьбы девица Хомутова получила фрейлинский шифр. После же венчания графиня Наталья Федоровна Аракчеева была пожалована орденом святой Екатерины II степени.

Все предвещало ей радостное будущее, те мечты, для осуществления которых она сделала такой решительный шаг, казалось ей, уже начинали сбываться.

Часть вторая Две графини

I

На волосок от смерти

Весть о женитьбе графа Аракчеева с быстротою молнии облетела не только Петербург, но и всю Россию.

На Николая Павловича Зарудина известие это произвело, сверх его ожидания, впечатление громового удара.

Ему за последнее время казалось, что он совершенно свыкся с мыслью, что Талечка, как он продолжал мысленно называть ее, потеряна для него навсегда.

К тупой боли, оставшейся у него в сердце, он привык, как к чему-то совершенно нормальному, и не обращал на нее внимания.

Между тем, это успокоение оказалось, увы, лишь призрачным – надежда, эта кроткая, но вместе с тем и коварная посланница небес, хотя и незаметной маленькой искрой теплилась в сердце молодого гвардейца, и как живительный бальзам умеряла жгучую боль разлуки.

Когда же эта искра потухла, когда предположение о том, что любимая девушка делается женою другого, стало совершившимся фактом, Зарудин понял, чем в его жизни была Наталья Федоровна Хомутова, и какая пустота образовалась вокруг него с исчезновением хотя отдаленной, гадательной, почти призрачной возможности назвать ее своею.

Он получил это ошеломившее его известие в форме пригласительного билета присутствовать при бракосочетании графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой, имеющем произойти в шесть часов вечера 4 февраля 1806 года в Сергиевском артиллерийском соборе.

Он вскрыл этот роковой конверт, вернувшись со службы 3 февраля.

«Еще насмехается, за что же, за что?» – пронеслось в его голове, и он в изнеможении скорее упал, нежели сел в кресло. Вся кровь прилила ему к голове, перед глазами запрыгали какие-то зеленые круги. Мысль, что пригласительный билет прислала ему его Талечка – счастливая невеста другого, жгла ему мозг, лишала сознания.

Он сидел, понутив голову, и картины будущего, одна другой безотраднее, медленно разворачивались перед его духовным взором.

Он думал, припоминая подробности свиданья с Натальей Федоровной в прошлом году на Васильевском острове, что она все-таки любит его, что только как неисправимая идеалистка – он так дорожил именно этим ее качеством – приносит его в жертву любви к своему другу Кате Бахметьевой. Он получил вскоре после своего выздоровления анонимное письмо, в котором говорилось именно это, и Зарудин, сопоставив содержание этого письма с ходатайством Талечки перед ним за свою подругу, с ее смущением после сорвавшегося с его губ признания, поверил даже анониму. Ему, впрочем, так хотелось верить. Тогда и брак ее с Аракчевым получал в его глазах иную окраску, являясь самопожертвованием восторженной идеалистки, быть может, направленной на этот путь постороннею волею – волею ее родителей.

О, тогда он готов бы преклониться перед ней, даже супругой Аракчеева, готов был издали обожать ее и ждать, когда судьба доставит ему случай доказать ей делом свою безграничную преданность и любовь, свято хранить для нее, для нее одной, те перчатки, которые

он получил при поступлении в масонскую ложу, принятие в которую должно было состояться на днях.

А теперь? Если она теперь присылкой этого билета так безжалостно глумится над известным ей его чувством, значит, она никогда не любила его, значит, она довольна сделанной ею блестящей партией, значит, она такая же... как и все!

А быть может, и хуже, – неслось далее в его разгоряченном воображении, – быть может, она, готовясь произнести клятву верности перед церковным алтарем своему будущему нелюбимому мужу, подготавливает себе из любимого человека... друга дома...

Николай Павлович даже как-то гадливо махнул рукой при этой мгновенно появившейся в его голове мысли... и тотчас же сам остановил себя.

«Нет, это уж я клевету на нее. Что бы сказал Кудрин, угадав эту мою мысль? Он все еще продолжает благоговеть перед ней... считает ее „не от мира сего“. Этим он объясняет отказ ее от личного счастья с ним, Зарудиным, и принесение себя в жертву народной пользе, как он называет ее брак с всеильным временщиком...»

«Он не прав, он ее идеализирует! – мысленно возражает он самому себе. – Доказательство этого, роковой билет, присланный, несомненно, ею, так как не граф же Аракчеев пришлет приглашение на свадьбу сыну своего врага, лежит перед ним на письменном столе... Значит, прав он, Зарудин, а не Кудрин».

В отчаянии он схватился за голову.

«Зачем же ему жить? Какая теперь цель его жизни? Была одна – поклонение ей, служение обществу во имя ее, принесение себя в жертву для нее... а теперь... путеводная звезда потухла, кругом пустота, тьма... надо и идти... во тьму...»

Николай Павлович встал, как бы успокоенный этою мыслью, и медленно начал ходить взад и вперед по своему кабинету.

Складки на его красивом лбу делались все глубже и глубже, в его голове, казалось, созрела какая-то роковая мысль. В лице появилось выражение отчаянной решимости. Он подошел к дверям кабинета, плотно прикрыл обе половинки и запер на ключ. Затем подошел к письменному столу, отпер один из ящиков, вынул продолговатый футляр, оклеенный темно-зеленым шагреном и открыл его. В нем оказались пара пистолетов, пули и пистоны. Медленно, не торопясь вынул Николай Петрович один из них, особенно тщательно стал рассматривать лежащие в особом отделении футляра пули, перебрав несколько штук, как-то любовно взвешивая их на руке. Наконец, на одной из них остановил он свой выбор и положил ее около пистолета; еще внимательнее стал он осматривать находившиеся в футляре, в особой коробочке, пистоны, долго вглядываясь во внутренность каждого. Одним из них он остался, видимо, доволен, положил его на стол, рядом с пулей и, закрыв футляр, снова запер его в ящик письменного стола.

Несколько минут он, как бы что-то припоминая, простоял около письменного стола, почти бессмысленно оглядывая сделанные им приготовления, затем быстрыми шагами подошел к турецкому дивану, над которым на ковре развешены были принадлежности охоты и разного рода оружие, снял пороховницу, вынул из ягташа паклю для пыжа и также быстро вернулся к столу. Здесь он аккуратно отвинтил крышку пороховницы, служащую и меркой для пороха, насыпал в нее последний и стал осторожно сыпать его в дуло пистолета, затем вложил пулю, снова внимательно осмотрев ее и шомполом забил пыж. Зарядив таким образом пистолет, он завинтил пороховницу, повесил ее на прежнее место и, возвратившись к письменному столу, сел в кресло.

С минуту он сидел неподвижно, потом взял в левую руку пистолет, взвел курок, долго осматривал затравку и, убедившись, что она наполнена порохом, осторожно надел пистон.

Переложив пистолет в правую руку, он левой взял стоящий на его письменном столе небольшой акварельный портрет в синей бархатной рамке и с каким-то благоговением под-

нес его к своим пересохшим от внутреннего волнения губам. На портрете была изображена красивая полная шатенка, с необычайно добрым выражением карих глаз, и с чуть заметными складочками у красивых губ, указывающих на сильную волю – это была покойная мать Николая Павловича Зарудина, умершая, когда он еще был в корпусе, но память о которой была жива в его душе, и он с особою ясностью именно теперь припомнил ее мягкий грудной голос, похожий на голос Талочки, и ее нежную, теплую, ласкающую руку.

Воспоминания раннего детства зароились в его голове, и как бы отдавая дань этим воспоминаниям, две крупные слезы скатились по его щекам. Восторженно припав к губам портрета, он стал покрывать его несчетными поцелуями.

– До свидания, родная! До скорого свидания! – шептали его губы.

Он весь выпрямился, как бы делая над собой невероятное внутреннее усилие, осторожно поставил потрет на место и, откинувшись в кресло, поднес дуло пистолета к правому виску. Холод прикоснувшегося к телу металла заставил его нервно содрогнуться – он отнял пистолет.

– Мальчишка... трус... – озлился он на себя и снова поднес пистолет к виску.

В соседней комнате раздался шум поспешных шагов. Зарудин вздрогнул и спустил курок.

Выстрел грянул, но в это самое мгновение обе половинки запертых дверей от напора сильной руки распахнулись. В волнении Николай Павлович забыл задвинуть шпингалеты.

На пороге кабинета стоял Андрей Павлович Кудрин.

Окруженный облаками порохового дыма, откинувшись окровавленной головой на спинку кресла, недвижимо лежал Зарудин. Еще дымившийся пистолет валялся на ковре.

В левом углу кабинета лежала свалившаяся с мраморной тумбы и разбившаяся вдребезги гипсовая статуя Аполлона.

«Он умер!» – было первоею мыслью Андрея Павловича, но, подбежав к полулежавшему в кресле Зарудину и схватив его за руку, услышал учащенное биение пульса. Его друг оказался лишь в глубоком обмороке. Испуганный раздавшимися шагами и напором в дверь, несчастный поспешил спустить курок, но рука дрогнула, дуло пистолета соскользнуло от виска и пуля, поранив верхние покровы головы и опалив волосы, ударила в угол, в стоящую статую.

На шум выстрела прибежали люди и испуганный насмерть старик Зарудин. Раненого уложили в постель, и явившийся доктор объявил, что это не рана, а царапина. Получив щедро за визит, он изъявил свое согласие сохранить в строжайшей тайне это происшествие.

«Я пришел вовремя! Он был на волосок от смерти. И с чего это ему вздумалось... Сумасшедший!» – мысленно рассуждал и спрашивал себя Андрей Павлович.

II

У постели друга

– С чего это ты, дружище? – укоризненно мягким тоном заговорил Андрей Павлович, когда, после прекратившейся суматохи, после того, как Павел Кириллович, лишившийся чувств при виде окровавленного сына, которого он считал мертвым, удалился к себе в кабинет, и молодые люди остались одни.

Старика общими усилиями прибывшего доктора и Кудрина с трудом привели в чувство и с трудом же объяснили, что жизнь его сына вне опасности и что даже, по счастливой случайности, веки правого глаза лишь слегка опалены.

Понятно, что ранее упавшего в обморок отца Андрей Павлович и доктор занялись контузившим себя сыном и он был бережно уложен в постель с тщательно сделанною перевязкою.

Доктор оставался до тех пор, пока Николай Павлович не пришел окончательно в себя и сперва помутившимся, а затем и более сознательным взглядом обвел комнату и присутствующих, остановившись на Андрее Павловиче, и этот взгляд принял почти укоризненное выражение.

– Плохую ты службу сослужил мне, помешав покончить с моей, никому не нужною жизнью, – не отвечая на вопрос, грустно проговорил молодой Зарудин.

– Эту, брат, песню я от тебя слыхал не раз и меня ты ею не удивишь, что ты там ни говори, я сердечно рад, видя тебя хотя по-прежнему с шалою, но все же целой головой. Быть может, я продолжаю еще твердо надеяться, что эта твоя контузия принесет тебе пользу, послужит уроком и вернет тебя в твое нормальное состояние.

Николай Павлович покачал головой и хотел заговорить, но Кудрин не дал ему вымолвить слова и продолжал:

– Что ты ненормален, в этом никто не может сомневаться, с этим согласишься и ты впоследствии. Разве нормально, разве разумно хотя бы твое настоящее заявление о том, что ты сожалеешь, что тебе помешали покончить с твоею никому, по твоему мнению, не нужною жизнью?

– А чем же это не разумно? Разумно все то, что существует. Положения же, при которых человеку не остается ничего, кроме пули, несомненно существуют, следовательно, и выход этот вполне разумен, – горячо возразил Зарудин.

– Ничуть... Во-первых, положение твое, что все то разумно, что существует, касается только существующего в природе, а не созданного людьми и их отношениями; в последнем случае в большинстве только и существует неразумное, а во-вторых, в каких бы обстоятельствах человек ни очутился, он не имеет никакого права посягать на то, что ему не принадлежит.

– То есть что же мне не принадлежит?

– Да жизнь, дружище, твоя собственная, как неверно привыкли говорить люди, жизнь... Она дана тебе божественной волею и ею только может быть отнята, это вообще, если речь идет о жизни человека, но, кроме того, каждый из нас гражданин и, наконец, воин, мундир которого ты носишь... а следовательно, наша жизнь принадлежит человечеству, народу, государству, но далеко не лично нам.

– Очень нужна массе единичная жизнь, она исчезнет незаметно, никто и не вспомнит об исчезнувшем.

– Может быть, и так. Но ведь из единицы и составляются массы. Если ты имеешь право рассуждать так, то почему же не имеет на это право другой, третий и так далее... Но не в этом дело. Сперва ответь мне, что такое случилось со вчерашнего дня, когда мы виделись

и так задушевно беседовали с тобой, что ты решился на такое попирающее и божеские, и человеческие законы преступление, как самоубийство?

– Разве ты не видал, что лежит у меня на письменном столе?

Андрей Павлович встал с кресла, пододвинутого им к кровати, вышел в кабинет и тотчас же вернулся, держа в правой руке розовый пригласительный билет на свадьбу графа Аракчеева.

– Это? – улыбаясь, спросил он, садясь в кресло.

– Это самое! Но чему же ты смеешься?

Николай Павлович с жаром стал передавать своему другу пережитые им нравственные страдания после получения этого клочка бумаги, мысли, которые теснились в его голове, постепенное, но быстрое возникновение в его мозгу идеи немедленного самоубийства, как естественного и единственного выхода из его безотрадного существования, без надежды, без будущего.

Кудрин внимательно слушал, не перебивая исповеди своего друга. Когда он кончил, Андрей Павлович несколько минут молча смотрел на него.

– Видишь, ты молчишь, значит, тоже находишь, что я прав? – раздраженно заметил Зарудин.

– Нет, я думаю, что прав не ты, а я, всегда говоривший тебе, что не следует ни создавать себе мнения о людях, ни тем более действовать под впечатлением минуты, не обсудив всегда ранее обстоятельства дела, а между тем, ты, видимо, совершенно не излечим от этого крупного недостатка твоих мыслительных способностей. Возьмем хоть настоящий случай: ты приписал Наталье Федоровне поступок, совершенно не вяжущийся со всем ее нравственным обликом, который ты достаточно изучил, и которому ты даже искренно поклонялся. И заметь, ты проделываешь это с нею уже не один раз, помнишь историю с запиской? Тебя не поймешь, нынче у тебя кумир, недосягаемый идеал, а завтра ты его собственноручно бросаешь в грязь и топчешь ногами.

– Но кто же, как не она, прислал мне этот билет, это приглашение? Кто? Ведь не сам же граф.

– Не сам, это-то верно, – улыбнулся Кудрин, – но и не Наталья Федоровна.

– Так что же, он с неба, что ли, ко мне свалился?

– Нет и не с неба, да ты и не стоишь, чтобы тебе что-нибудь свалилось с неба. А попал он к тебе так же, как попал и ко мне. У меня на столе лежит точно такой же.

– У тебя?

– Да не у одного меня, а у всех офицеров гвардии, находящихся в Петербурге, они разосланы по приказанию начальства...

– Вот как! – упавшим голосом пробормотал Николай Павлович.

– Вот как! – передразнил его приятель.

– Какая же я на самом деле дрянь!..

– Опять крайности, ты просто до безобразия расшатал свои нервы и можешь дойти до полного психического расстройства, если не примешь серьезных мер. В подобных случаях единственным врачом самому себе является сам человек.

– Нет, дружище, я неизлечим, или лучше сказать, я не болен, я просто нравственно негодный человек, думавший найти поддержку, стыдно сказать, в... женщине... Впрочем, эта женщина, эта девушка неизмеримо выше и чище меня... Но Бог не судил мне и этого исхода... Пусть ты прав, она любит меня, она самоотверженно, подобно героиням классического мира, принесла свою любовь в жертву дружбе... Тем хуже, я сильнее сознаю, что именно я потерял в ней... но все же потерял, потерял окончательно... и одинок, совсем одинок... Зачем же мне жить?

– Странный взгляд... – начал было Кудрин, но вдруг замолк и опустил глаза, честно и прямо устремленные на друга.

Он хотел было разразиться против Зарудина целой филиппикой на тему о том, что женщина не вещь, что она не может быть всецело собственностью мужчины, что слова «моя», «принадлежит» и «потеряна» недостойны развитого человека, что любовь чистая, братская, дружеская любовь может быть совершенно честно питаема и к замужней женщине, не оскорбляя ни ее, ни ее мужа, что отношения к женщинам не должны ограничиваться лишь узкою сферою плотского обладания, что, наконец, это последнее должно играть наименьшую роль среди людей развитых, образованных. Но Андрей Павлович вспомнил, что любимая его другом девушка обратится в графиню Аракчееву и понял, что на самом деле она потеряна для Зарудина не только как женщина, но и как друг.

Возражение, которое он готовил своему другу, замерло на его устах.

– Быть может, ты и прав... – начал он снова, и в голосе его зазвучали более серьезные ноты. – Но я все-таки доволен, что удержал тебя от самоубийства, если жизнь, на самом деле, не представляет для тебя ничего в будущем, то кто же тебе мешает искать смерти, но не бесполезной, здесь, в кабинете, где пуля разбила бы тебе голову точно так же, как разбила твоего гипсового Аполлона, а там, где твоя смерть может послужить примером для других, может одушевить солдат и решить битву, от которой зависят судьбы народов. Иди на поле брани, подыми свой меч на защиту гражданской свободы, против полчищ того изверга человечества, который, прикрывшись тогой этой гражданской свободы, сбросил маску и стал представителем худшей из тираний – тирании военной... Твое положение, твой мундир дают тебе для этого полное право и полный простор, скажу более, обязывают тебя к этому. Присоединись к действующей армии.

Николай Павлович, казалось, пожирал восторженным взглядом своего друга. На лице его появилось выражение какого-то спокойствия, отчаяния и отчаянной решимости. Он даже приподнялся в постели на локте левой руки, а правую протянул Кудрину.

– Спасибо, друг, ты образумил меня, я еду в армию, и да будет надо мной воля Божья... Я буду искать смерти, но если не найду ее, то... останусь жить...

– Но прежде мне хотелось бы, чтобы ты сделался моим духовным братом... это вдохнет в тебя силу, внесет в твою растерзанную душу примирение с людьми и с самим собою...

– Я сам хотел просить тебя об этом. Я уеду не иначе, как масоном...

Разговор перешел на эту последнюю тему. Кудрин говорил почти один.

Николай Павлович слушал его рассеянно, не будучи, видимо, в состоянии отделаться от гнетущей мысли и даже раз перебил его вопросом:

– А ты поедешь?

– Куда?

– По приглашению...

– Нет, я в карауле... этот день... – сквозь зубы пробормотал Андрей Павлович и встал прощаться.

– Спи и ни о чем не думай... Думами ничего не переделаешь... а будущее – дело Бога!..

III

Европейские осложнения

Отношения наши с Францией при вступлении на престол императора Александра Павловича были миролюбивы: формальный трактат о мире был подписан в октябре 1801 года. Но мир с Францией не мог продолжаться долго, потому что первый консул Бонапарт с каждым годом делался заносчивее с государями и опасным для спокойствия Европы.

Англия, вынужденная обстоятельствами заключить с Францией невыгодный мир в Амиене, теперь не думала выполнять его условия: англичане по-прежнему занимали мыс Доброй Надежды, Мальту и Александрию; английские журналы подсмеивались над первым консулом, а государство готовилось к войне. После того, как Наполеон велел арестовать всех англичан во Франции и Голландии, Англия объявила ему войну.

Нашим послом в Париже был граф Марков, человек гордый, вспыльчивый и, притом, враг Наполеона. Между ним и Наполеоном не раз происходили сцены; однажды, после грубой выходки Наполеона, Марков повернулся к нему спиной и уехал. Когда Маркова отозвали, Наполеон стал придирается к нашему чиновнику Убри, оставленному в Париже вместо Маркова; кроме того, он настаивал и на удалении нашего чиновника при русской миссии из Дрездена. Становилось ясным, что Наполеон желает разрыва: до нас дошли слухи, что французские агенты подстрекают турок. Тогда Россия вступила в тайные переговоры с европейскими державами. Когда Наполеон велел расстрелять невинного герцога Ангиенского, император Александр приказал служить по нем траур и подал протест. Дерзкие ответы первого консула произвели полный разрыв, и русское посольство было отозвано из Парижа, а французское из Петербурга.

Это было в половине 1804 года.

Между тем, Наполеон торжественно наложил на себя императорскую корону. Когда Австрия и Швеция начали вместе обсуждать, какие лучше принять меры для обороны, император Александр привлек сюда и Англию, – в марте 1805 года она заключила с Россией союзный контракт. Узнав об этом, Наполеон предложил Англии мир. Союзники хотели покончить дело миролюбиво и с этой целью предлагали Наполеону даже некоторые уступки, как вдруг он нарушил люневильский договор, присоединив к Франции Генуэзскую республику и отдав Лукку своей сестре Елизе, принцессе Баччиоки. После этого и осторожный австрийский император поспешил вступить в переговоры о союзе с Россией и Англией, и в июле 1805 года Россия уже утвердила составленный в Вене план военных действий. По этому плану Австрия обязывалась выставить армию в 30 000 человек, Россия должна была выслать 115 000, а Англия, как не имеющая сухопутного войска, обязывалась выплатить полтора миллиона фунтов стерлингов и три миллиона стерлингов ежегодной субсидии.

Россия стала деятельно приготавливаться к войне; комплектовались армии, заготавливались боевые снаряды и провианты; в Туле и Сестербеке, например, заготавливали ружья на всю армию; чтобы не вздорожали жизненные припасы, запрещено было вывозить за границу рожь и овес. В августе большая часть нашей гвардии выступила уже из Петербурга под начальством великого князя Константина Павловича. У прусской границы армия наша должна была остановиться, потому что Пруссия строго держалась нейтралитета и ни за что не хотела пропустить союзные войска через свои владения. Александр Павлович избегал войны с Пруссией, но честь России считал выше всего и не желал унижить достоинства ее в самом начале похода; могли говорить, что русский государь дошел со своей армией до границы и должен был отступить по воле прусского короля; поэтому он сам отправился в Берлин для личных переговоров с Фридрихом-Вильгельмом и, в случае упорства, думал даже объявить ему войну. Из Брест-Литовска (бывшего тогда на границе нашей с Австрией и

Пруссией) он отправил в Берлин генерал-адъютанта Долгорукова с приказанием оставаться там не более суток, а в ожидании ответа, производил смотры войскам и повелел сформировать резервную армию, которая должна была расположиться вдоль всей нашей границы с Пруссией и Австрией.

Вдруг сами французы помогли делу: Бернадот, чтобы выиграть один или два перехода к Дунаю, с французской армией прошел через графство Аншпах и этим нарушил прусский нейтралитет. Известие об этом взволновало Берлин: армия и народ заговорили о мести; тогда Фридрих-Вильгельм, подчинившись общему влечению нации, дозволил армии Кутузова вступить в прусскую Силезию; вскоре император Александр отправился в Берлин, и свидание его с Фридрихом-Вильгельмом положило начало их многолетней дружбе. У гроба Фридриха Великого государи дали друг другу слово взаимно поддерживать один другого.

Между тем, Наполеон, не зная, как нанести удар Англии, обратил свои силы на ее союзников: во главе двухсоттысячной армии он устремился от Рейна на Вену самым кратчайшим путем. Главные силы австрийцев, под начальством эрцгерцога Карла, находились тогда в Италии, 40 000 армия дожидалась на Дунае прибытия русской армии, двинутой к Баварии; начальствовал ею брат императора Франца, эрцгерцог Фердинанд. Не желая назначить главнокомандующим союзной армии Кутузова и не желая, с другой стороны, обидеть его назначением генерала Маака, австрийское правительство поручило армию двадцатичетырехлетнему брату императора, но с тем, чтобы всем распоряжался генерал Маак; бланковые подписи императора делали его самостоятельным: он мог не стесняться действиями и поступать по своему усмотрению, но Маак был человек неспособный, и сами немцы говорили, что имя его (Маака) по-еврейски значит поражение. Пока австрийские стратеги педантично, с циркулем в руках рассчитывали, что Наполеон до Дуная должен будет идти не менее 64 дней, Наполеон явился через 40 дней, отрезал Маака от спешивших к нему русских войск, окружил в Ульме и заставил его с пятьюдесятью тысячами сдаться на капитуляцию. Только эрцгерцог с кавалерией, преследуемый по пятам французами, успел уйти в Богемию, да Кантемир с 8-10 тысячами, успел присоединиться к Кутузову.

Кантемиру Маак поручил стеречь мосты на Дунае и Ааре; после слабой попытки удерживать мосты от наступающей массы неприятелей, он должен был поспешно отступить на Мюнхен.

Австрийские войска были разобщены, разбросаны в разных местах, дрались вообще дурно, а Пруссия, по мнению Наполеона, не могла скоро начать неприятельские действия против него, поэтому он поспешил к Вене, чтобы этим еще более парализовать деятельность Пруссии. Когда Кутузов дошел до Браунау (на Инне), армия его оказалась чересчур усталою, потому что по мере опасности, угрожавшей Мааку, венский двор торопил Кутузова, который и без того заставлял пехоту делать по 50–60 верст в сутки. Хладнокровный и осторожный Кутузов оставался несколько времени на Инне и здесь выжидал, пока выяснятся намерения Наполеона, чтобы с ними сообразить свои действия.

Когда сделалось ясным, что Наполеон спешит против него с стотысячной армией, Кутузов приказал вывозить из Браунау больных, парки и артиллерию, уничтожить все переправы на реке, не забывая в то же время хладнокровием и даже веселостью оживлять дух жителей и чиновников; затем начал медленно отступать к Вене.

Командование отдельными отрядами Кутузов вручил храбрым генералам Багратиону, Витгенштейну, Ермолову и Милорадовичу, имена которых несколько позже сделались знаменитыми. Так как на военном совете, под председательством императора Франца, решено было пожертвовать Веной, то Кутузов отступал на северо-восток к Брюну, вступая на пути

в отдельные стычки с авангардом французов; особенно сильна была стычка у Дюрпштейна: «Этот день был днем резни», – пишет Наполеон в своем бюллетене.²

В ноябре французы заняли Вену и нашли здесь массу амуниции, оружия и пороха. Выйдя из Вены, Мюрат перешел Дунай и направился на северо-запад – в перерез Кутузову, который в полтора суток прошел 56 верст, под дождем, утопая в грязи. Задерживать Мюрата должен был арьергард в 7 000 человек, под начальством любимца солдат, неустрашимого и хладнокровного генерала Багратиона. Кутузов считал этот отряд «оставленным на неминуемую гибель для спасения армии». Пока армия отступала к Брюну, «геройский отряд» Багратиона сразился у Шенграбена с сорокатысячной армией Мюрата. Окруженный со всех сторон, Багратион бодро выдержал натиск масс, ринувшихся на него. Он потерял здесь все орудия, которые невозможно было везти через теснины по топким болотам, и 2000 человек убитыми, зато задержал французов. Вечером Багратион из остатков отряда сформировал колонну, пробился через французов и присоединился к армии.

– О потере не спрашиваю, ты жив – этого довольно! – сказал Кутузов, обнимая явившегося к нему Багратиона.

Сам Наполеон дивился храбрости русского арьергарда. «Русские grenadiers выказали неустрашимость», – писал он в своем бюллетене. Имя Багратиона, как героя, обошло всю Россию. За дело при Шенграбене он был произведен в генерал-лейтенанты, получил Георгиевский крест второй степени и командирский крест ордена Марии Терезы от императора Франца; последнего ордена никто из русских еще не имел.

У Брюна к Кутузову присоединился австрийский отряд, пришедший из Вены, у Вишау – корпус графа Буксгевдена, а у Ольмюца – русская гвардия; таким образом, все союзные войска составили до восьмидесяти тысяч.

Наполеон стянул к Брюну такое же число.

² И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

IV Аустерлиц

Хотя оба императора назначили главнокомандующим союзной армии Кутузова, но распоряжались всеми действиями, составляли планы и отдавали распоряжения австрийские генералы и особенно неспособный Вейротер. Австрийцы имели свои понятия о войне, считали выработанными военные правила непреложными, а на русских смотрели, как на незрелых еще для высших военных соображений, почему, например, хвалили Кутузова, как полководца, но находили нужным руководить его действиями; с другой стороны, сам император Александр думал, что, воюя такое продолжительное время с Наполеоном, австрийцы лучше русских могли изучить образ войны с ним, и, считая себя в этой кампании только союзником Австрии, находил более приличным, чтобы главными деятелями в ней были австрийский генералы.

15 ноября союзная армия, разделенная на пять колонн, выступила из Ольмюца. Император Александр следовал с третьей, или срединной колонной. Войска шли в величайшем порядке и в ногу, как на параде. На другой день наш авангард с князем Багратионом атаковал у Раузниц французский конный отряд и заставил его отступить. Здесь первый раз Александр Павлович был в огне. Когда пальба стихла, он шагом объезжал поле битвы, всматривался через лорнет в тела убитых и раненых и приказывал подавать последним помощь. Через два дня союзники дошли до Аустерлица и здесь решили дать битву Наполеону, так как в этой местности австрийцы нередко производили маневры. Наполеон занял превосходную позицию, как для атаки, так и для обороны: его армия упиралась в цитадель Брюна, которая, в случае необходимости, могла обеспечить отступление в Богемию: с правого фланга ее прикрывали лесистые и почти непроходимые холмы, а с фронта – глубокий ручей Гольдбах и несколько озер; против центра, за ручьем, подымались Пражские высоты – позиция господствующая и передовая, за которою виднелись вдаль деревни и замок Аустерлиц, занятые уже армией союзников. Наполеон видел и невыгодное расположение союзной армии, и намерение ее обойти его правый фланг, чтобы отрезать ему дорогу на Вену и отделить от остальных полков, расквартированных в окрестностях этого города; поэтому он был почти уверен в победе и накануне битвы велел объявить по армии следующее воззвание: «Позиции, занимаемые нашими – страшны; и в то же время, как русские будут идти в обход моего правого фланга, они мне подставят свой фланг. Солдаты! Я сам буду направлять ваши батальоны. Я буду держаться вдаль от огня, если вы с обыною храбростью смешаете неприятельские ряды; но если победа будет хотя на минуту нерешительна, вы увидите, что ваш император подвергнется первым ударам!»

Это воззвание, в котором Наполеон раскрывал перед армией свои планы и говорил с уверенностью победителя, произвело в лагере чрезвычайное впечатление: восторг солдат увеличился еще более, когда ночью Наполеон пешком и без свиты посетил бивак; солдаты устроили импровизированную иллюминацию, сжигая по его пути пуки соломы.

В русском лагере приняли иллюминацию за пылающие костры и, считая это знаком отступления, боялись, чтобы Наполеон не воспользоваться мраком ночи и не ушел с занятых им позиций. Русские рвались сразиться с ним и ждали только приказаний. Еще 17 числа Наполеон просил у Александра Павловича личного свидания между обоими авангардами. Государь отправил за себя князя Долгорукова. Свидание окончилось ничем, но Долгоруков, возвратившись из французского лагеря, привез известие, будто там заметно уныние.

– Наш успех несомненен, – говорил он, – стоит только идти вперед – они отступят. До сих пор Наполеон двигался смело и решительно вперед, а теперь выжидает чего-то, вступает в переговоры; следовательно, он неуверен в победе!

Эту мысль разделяли многие, и вот почему решено было дать 20 ноября ему битву у Аустерлица. План атаки, составленный генералом Вейротером, был утвержден обоими императорами вечером 19 ноября. Кутузов не одобрял его: он думал, что следует решиться на нападение только тогда, когда будут верные сведения о силах противника и их расположении, а пока собрать свои силы, дать им диспозиции и тогда уже действовать сообразно обстоятельствам. Но Кутузов не настаивал сильно на своем мнении и не отвергнул план Вейротера; в этом состояла его ошибка.

В полночь он пригласил к себе начальников колонн, дежурного генерала Волконского и генерала Вейротера и объявил им, что завтра в семь часов утра начинается атака. Когда генералы сели, Вейротер развернул план окрестностей Брюна и стал читать свою диспозицию; при этом долго и очень запутанно объяснял ее. Говорят, будто бы к концу объяснения Кутузов заснул, его пришлось разбудить. Когда Вейротер заключил свое объяснение заявлением, что места эти ему хорошо знакомы, потому что в прошлом году здесь были маневры, его помощник граф Бубна заметил на это:

– Не наделайте только опять таких же ошибок, как на прошлогодних маневрах.

Совет окончился в три часа, а через три часа был готов русский перевод диспозиции Вейротера, сделанный майором Толем, и доставлен к начальникам колонн.

– Сражение проиграно! – воскликнул Багратион, прочитав эту диспозицию.

Армия, растянутая на огромном пространстве, представляла большой полукруг, замыкавший угол, занятый в центре французами. Наполеон и его генералы хорошо изучили местность. Догадываясь о намерении союзников нанести удар правому крылу французов и обойти его, Наполеон воспользовался мраком ночи и тихо, незаметно для союзников, перевел большую часть корпуса Сульта через ручей Гольдбах. В семь часов утра, когда еще не успел рассеяться туман, он раздал последние приказания маршалам. Между тем, союзные войска, не подозревая перемены в расположении французской армии, стали двигаться, как им было указано диспозицией Вейротера. Наполеон, наблюдавший за этим движением с высокого кургана, отдал тут же приказание разрезать нашу армию в центре, но не ранее, как через полчаса, когда союзные войска еще более разобьются.

В 10 часов утра в русский лагерь прибыли императоры с огромной свитой. Часть четвертой колонны находилась с Кутузовым в центре Пражских высот. Подъехав к войску и видя, что солдаты отдыхали у ружей, сложенных в сошки, государь Александр Павлович удивился:

– Михаил Илларионович, почему вы не идете вперед? – спросил он Кутузова.

– Поджидаю, ваше величество, чтобы собрались все войска колонны, – отвечал Кутузов.

– Да ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, – возразил Александр Павлович.

– Государь, – отвечал Кутузов, – потому-то я и не начинаю, что не на Царицыном лугу.³

Государь приказал вести войска вперед. Французы были так близко, что можно было разглядеть их лица; отбросив передовой отряд Милорадовича, они наступали на Пражские высоты. Сам Кутузов был ранен в щеку, многие генералы были убиты и все усилия Милорадовича остановить неприятеля были напрасны. Русские батальоны, не поддержанные никаким резервом, атакованные с боку, когда они шли в атаку с фронта, были отброшены на склоны возвышенности на глазах самого императора, удивленного и опечаленного непредвиденной катастрофой. Прорвав центр и заняв Пражские высоты, Наполеон выиграл битву. Начались отдельные стычки в разных местах: войска храбростью заслужили удивление

³ И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

Наполеона: офицеры и солдаты «дрались как львы», но их частные усилия гибли бесплодно, и битва к концу дня окончательно была проиграна.

У нас выбыло из строя более 20 000 человек, при этом потеряно 133 орудия и 30 знамен; единственным трофеем нашим было одно французское знамя, отнятое у батальона линейной пехоты двумя эскадронами конной гвардии. Австрийцы потеряли около 6000 человек и 25 орудий, а французы только 8500 человек.

Как всегда бывает, после поражения союзники упрекали друг друга. Австрийцы говорили, что Аустерлицкая битва была проиграна оттого, что русские не умеют маневрировать, что пехота русская неповоротлива, ружья тяжелы, артиллерия малоподвижна. Русские, напротив, обвиняли австрийцев, которые не изучили местности и не заготовили необходимого провианта и фуража, – и они были правы. Действительно, кажется странным, что на этом месте австрийцы производили маневры, а между тем, знали местность хуже Наполеона. Император Франц, например, через шесть недель после битвы признался, что не знает плана битвы; затем на австрийцах лежала обязанность заготовления магазинов для союзной армии, но они об этом не позаботились, и наши лошади несколько суток должны были питаться одной соломой. Нельзя не признаться также, что одной из главных причин неудачи у Аустерлица была нетвердость и уступчивость Кутузова. Сам Александр Павлович говорил впоследствии:

– Я был молод, неопытен; Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее.

Таково было положение на европейском театре войны, куда Андрей Павлович Кудрин посылал несчастного Зарудина.

V

В столице Аракчеева

В один из январских вечеров 1806 года в обширной людской села Грузина стоял, как говорится, «дым коромыслом». Слышались песни, отхватывали лихого трепака, на столе стояла водка, закуски и сласти для прекрасной половины графской дворни.

На дворе были «святки», до Крещения оставалось несколько дней. Праздником и отсутствием графа, находившегося в Петербурге, объяснялось это веселье. Граф Алексей Андреевич уже около трех месяцев не был в своей «столице», как остряки того времени называли Грузино.

Последнее действительно представляло даже и в это время целый городок и городок далеко не русский, так как последние отличаются и теперь, а не только тогда, неряшливостью и беспорядочностью постройки; здесь же царила симметрия, без которой граф Аракчеев не представлял себе даже понятия о красоте. При приближении к Грузину путешественнику казалось, что он каким-то волшебством перенесен из дикой Азии в культурную Европу, в какой-нибудь городок чистоплотной Германии, особенно летом, так как окаймляющий Грузино синее лентою Волхов был в этом месте особенно чист и прозрачен.

Но не одно отсутствие графа давало возможность развернуться грузинской дворне во всю ширь своей русской натуры, пригубить запретную в Грузине влагу, именуемую «сивухой», встретить праздник по-праздничному в полном для простолюдинов значении этого слова. Граф почти не пил сам и не любил не только пьяниц, но даже пьющих, хотя не только не стеснял своих дворовых и крестьян веселиться по праздникам, но даже поощрял их к этому, устраивая народные гуляния; но какое же веселье без водки, этой исторической вдохновительницы русского народа, а между тем, продажа и даже самый привоз ее в Грузино строго преследовались властным помещиком. Алексей Андреевич, с тех пор как был снова призван к кормилу государственного корабля, часто отсутствовал из Грузина, но это не мешало, чтобы жизнь его обитателей проходила неукоснительно по заведенному им шаблону без малейших отступлений.

В описываемый нами январский вечер дворовые села Грузина гуляли в людской с дозволения Минкиной, отпустившей от себя всю свою личную прислугу и оставшейся одной в своем флигеле, специально выстроенном для нее графом и отличавшимся от остальных грузинских строений наружной резьбой, зеркальными стеклами и вообще изяществом, невольно обращавшим на себя внимание всякого зрителя.

Одетая в пестрый персидский капот с пунцовой косынкою на голове, так шедшей к нежной, хотя и смуглой коже ее лица и, как смоль, черным волосам, она была неотразимо прекрасна, но какой-то особо греховной, чисто плотской красотой. Невольно вспоминалась справедливая оценка этой красоты одним заезжим в Грузино иностранцем, назвавшим Настасью Федоровну «королевой-преступниц» – прозвище, очень польстившее Минкиной.

Настасья Федоровна беспокойно ходила взад и вперед по довольно обширной комнате, меблированной не без комфорта, уже несколько раз проходила то к тому, то к другому окну, вглядывалась во тьму январского позднего вечера и чутко прислушивалась. На ее красивом лице было написано нетерпение ожидания.

Кругом все было тихо.

– Ведь должен же он сегодня приехать, неча ему зря в Питере болтаться, да и граф не оставит... – вслух соображала она. – Впрочем, чуден стал его сиятельство, ничего с ним не сообразишь... Сюда глаз не кажет, в Питер не зовет, писем и с Егорушкой сколько ему уж написала, ни на одно хоть бы слово ласковое ответил: окромя распоряжений по вотчине, ничего не пишет. Неужто и теперь на мое письмо, слезное да ласковое, молчком отделается.

Аль я ему не любя стала, другую зазнобу в Питере нашел, да навряд ли, кому против меня угодить... старому... Да и где они такие другие, как я, крали писанные... Была какая-то Катерина Медичева, говорил мне Егорушка, да померла давно... а другим до меня... далеко.

Выражение мстительного беспокойства от предполагаемой графской измены сменило выражение хвастливого довольства собой.

«А если какая фря и станет мне поперек дороги, в порошок сотру, сама сгину, но погублю своим бездыханным телом и раздавлю разлучницу...» – продолжала далее думать Минкина, и огонек злобной решимости все более и более разгорался в ее темных, как ночь, глазах.

В этот самый момент среди царившей невозмутимой тишины раздался осторожный, но явственный стук в наружную дверь. Настасья Федоровна быстро прошла в переднюю комнату, откинула дверной крюк, и вместе с ворвавшимся в комнату клубом морозного пара на пороге двери появился видный, рослый мужчина, закутанный в баранью шубу, воротник которой был уже откинут им в сенях, а шапка из черных мерлушек небрежно сдвинута на затылок. Чисто выбритое лицо с правильными чертами могло бы назваться красивым, если бы не носило выражения какой-то слащавой приниженности, что не могло уничтожить даже деланное напускное ухарство вошедшего, обстриженные кудри светло-каштановых волос выбивались из-под шапки и падали на белый небольшой лоб. Толстые, но красивые губы указывали на развитую с избытком чувственность, но здоровый, яркий румянец щек, подкрашенный еще морозом, красноречиво доказывал, что пришедший был еще молод и не испорчен.

Ему на самом деле шел всего двадцать четвертый год.

– Егорушка... что так поздно... – бросилась к нему Минкина и, обвив его шею своими полными, красивыми руками, запечатлела на обеих его щеках по горячему поцелую.

Егор Егорович – это был он – принял эту ласку как-то растерянно, послал на воздух два ответные поцелуя и бросил вокруг несколько боязливых взглядов.

Настасья Федоровна поймала их налету.

– Мы одни! Все в людской... пируют, – сказала она и заложила дверной крючок.

Воскресенский сбросил с себя шубу на стоявший в передней сундук и робко, точно поневоле, последовал за шедшей впереди Минкиной в ту комнату, где мы застали ее, ожидавшую его приезда из Петербурга.

– Садись, Егорушка, сюда на диванчик к столику, а у меня для тебя припасены и вино, и закусочка.

Настасья Федоровна выскользнула своей плавной походкой в следующую комнату.

Егор Егорович остался один и с каким-то не то испуганным, не то виноватым видом опустился на диван.

Скажем несколько слов о прошлом этого настоящего фаворита грузинской «графини», как называли за последнее время Минкину дворовые люди и крестьяне села Грузина.

Сын бедного дьячка одного из малолюдных петербургских приходов, он довольно успешно учился в духовной семинарии на радость и утешение родителям, мечтавшим видеть своего единственного сына в священническом звании, но увы, этим радужным мечтам не суждено было осуществиться, и на третий год пребывания Егора Воскресенского в семинарии, он был исключен за участие в какой-то коллективной шалости, показавшейся духовному начальству верхом проявления безнравственности. Кроме исключения, прилежный семинарист подвергся суровому наказанию бурсацкими лозами, к которым были прибавлены лозы дома, отсыпанные щедрой рукой хотя и тщедушного, чахоточного, но раздражительного и злобного родителя.

Претерпев такое наказание, мальчик был оставлен родителями без всякого присмотра и лишь по истечении года случайно был определен в аптеку, находившуюся в районе их

прихода и содержимую немцем Апфельбаумом, женатым на православной и богомольной барыне, к протекции которой и обратился отец Егорушки.

Занятия у аптекаря, в качестве ученика, пришлись по душе мальчику, и он через несколько лет успешно выдержал экзамен на фармацевта. Случай, видимо, покровительствовавший изгнанному семинаристу, способствовал и его переводу в аптеку села Грузина, куда он поступил в помощники аптекаря. Дело в том, что граф, нуждаясь в таком служащем, сделал запрос в петербургских аптеках, и на этот запрос не убоился откликнуться Егор Егорович Воскресенский, все же остальные находившиеся в аптеках фармацевты уклонились от службы у грозного, понаслышке, Аракчеева.

Нельзя сказать, чтобы Егор Егорович без душевного трепета принял решение вступить в грузинскую службу, но его побудила к этому неопределенность будущего, так как старик Апфельбаум, сильно прихварывавший за последнее время, уже с год как искал случая продать свою аптеку и пожить на покое. Во время же получения графского запроса продажа аптеки была уже решена, и будущий новый хозяин заявил, что у него уже подобраны служащие, так что Воскресенский рисковал долго не найти места в переполненных фармацевтами столичных аптеках.

Рок, видимо, вел его туда, где ему суждено было испытать и тревожное счастье, и неожиданную гибель.

VI

Между страхом и надеждою

Егор Егорович прибыл в Грузино в отсутствие графа и, вследствие данной его сиятельством в вотчинную контору письменной из Петербурга инструкции, явился к грузинскому аптекарю, получил отведенную ему в помещении аптеки комнату и приступил к исполнению своих обязанностей.

Весть о прибытии молодого и красивого аптекарского помощника была доведена до сведения Настасьи Федоровны преданной ей «дуэньей» старухой Агафонихой.

– Красавец он, матушка, Настасья Федоровна, писаный, рост молодецкий, из лица кровь с молоком, русые кудри в кольца выются... и скромный такой, точно девушка, с крестьянами обходительный, ласковой... неделю только как приехал, да и того нет, а как все его полюбили... страсть!.. – ораторствовала Агафониха у постели отходящей ко сну Минкиной, усердно щекоча ей пятки, что было любимейшим удовольствием грузинской домоправительницы.

– Да откуда он проявился такой, королевич сказочный? – с деланной зевотой спросила Настасья Федоровна, хотя блеск ее глаз доказывал, что она далеко не без интереса слушает рассказ своей наперсницы.

– Из Питера, матушка, Настасья Федоровна, из Питера, в аптекарях и там служил, граф его к нам выписал...

– Из Питера, – протянула Минкина, – да красивый. Чай, бабами страсть избалован, да и зазнобу какую ни на есть, чай, там оставил?..

– Уж об этом я, матушка, доподлинно не знаю, чай, конечно, не без греха, не девушка, да и быть молодцу не укор, только ежели сюда его занесло, все зазнобушки из головы вылетят, как увидит он королевну-то нашу.

– Это какую еще королевну? – углом рта лукаво улыбнулась Настасья Федоровна.

– Какая же во всей Россее oprичь тебя, матушка, королевна есть, и чье сердце молодецкое не заноеет тебя встретив, хоть бы сотня зазнобушек заполонила его...

– Ну, пошла, замолола, – полусердито, полуласково, как бы сквозь сон, заметила Настасья Федоровна, – иди себе, я засну.

Агафониха вышла, не удержавшись, впрочем, лукаво подмигнуть уже, казалось, заснувшей Минкиной.

Последняя далеко не спала, она лежала с закрытыми глазами и старалась воссоздать своим воображением ослепительный образ красивого юноши, очерченный лишь несколькими штрихами в рассказе старухи.

Страстная и чисто животная натура грузинской домоправительницы не могла остаться безучастной к появлению вблизи красивого молодого мужчины.

Молодая, страстная, огненная, с чисто восточным темпераментом женщина, какой была Настасья Минкина, не могла, конечно, довольствоваться супружескими ласками износившегося и уже значительно устаревшего Аракчеева и, конечно, обманывала его как любовника при каждом представившемся случае. Кроме того, домоправительница-фаворитка обманывала графа и как хозяина села Грузина: во флигеле Настасьи в его отсутствие происходили безобразные сцены самого широкого разгула, и шампанское лилось рекой. У Настасьи Федоровны всегда имелся запас самых дорогих вин. При той аккуратности и строгой отчетности во всех мелочах, какие заведены были в Грузине, нечего, конечно, было и думать о получении вин из графского погреба: там каждая бутылочка стояла за особым номером, и ее исчезновение могло быть замечено легко и скоро. Минкина находила другие средства для своих кутежей, черпая их из не совсем чистого источника. Она знала за лицами,

стоявшими во главе различных частей управления грузинской вотчины, разные грешки и, пользуясь этим, брала с них и деньгами, и натурой в виде подарков.

Скука и однообразие жизни, проводимой ею в Грузинском монастыре, как сам граф называл впоследствии свою усадьбу, более или менее объясняют, хотя, конечно, не извиняют обе стороны жизни полновластной экономки.

Долго в сладострастных думах не могла заснуть Настасья Федоровна и ворочалась на своей роскошной постели, лишь под утро забываясь тревожным, лихорадочным сном.

Проснувшись довольно поздно, она тотчас же позвала к себе Агафонику и долго шепталась с нею.

День уже склонился к вечеру, когда Агафониха своею семенящею походкой взобралась на крыльцо аптеки и вошла в нее.

Егор Егорович отпускал в это время лекарство какой-то бабе и усердно и толково объяснял ей его употребление.

Агафониха остановилась немного поодаль и ждала ухода посторонней.

– Тебе что, бабушка? – обратился к ней Воскресенский.

– Я подожду, родимый, справляй свое дело, справляй...

Наконец, баба поняла и, охая да причитая, удалилась. Егор Егорович вопросительно уставился на Агафонику.

– Я к тебе, родимый, от графинюшки... – таинственно начала она.

– От какой графинюшки?

– Известно от какой, от Настасьи Федоровны...

Воскресенский вспыхнул.

Агафониха не ошиблась, когда говорила Минкиной, что ни одно сердце молодецкое не устоит перед красотой последней. Егор Егорович несколько раз лишь мельком, незамеченный ею, видел властную домоправительницу графа, и сердце его уже билось со всею страстью юности при воспоминании о вызывающей красоте и роскошных формах фаворитки Аракчеева. Знал Воскресенский, несмотря на свое короткое пребывание в Грузии, и о сластолюбии Минкиной, и о частых переменах ее временных фаворитов.

«Ужели теперь настала его очередь?»

При этой мысли вся кровь бросилась ему в голову, сердце как-то томительно похолодело. С одной стороны перспектива обладания этой, казалось ему, несравненной красавицей, этим чисто «графским кусочком», как мысленно называл он ее, а с другой – возможность, что его поступок дойдет до сведения грозного графа. При этой мысли он почувствовал необычайный ужас, и волосы поднялись дыбом на его голове. Он постарался отбросить всякое помышление о возможности обладания «графинюшкой», как называла ее стоявшая перед ним старуха, и почти спокойным, с чуть заметною дрожью от внутреннего волнения, голосом, спросил:

– Что же угодно от меня Настасье Федоровне?

– Да прислала она меня к тебе, голубчик, за каким ни на есть снадобьем, мозоль на ноге совсем извел ее, сердешную...

Егор Егорович положительно упал с неба на землю, и, странное дело, несмотря на то, что он только что пришел к решению всеми силами и средствами избежать этой обольстительно красивой, но могущей погубить его женщины, наступившее так быстро разочарование в его сладких, хотя и опасных мечтах, как-то особенно неожиданно тяжело отозвалось в его душе.

Теперь ему захотелось обладать ею хотя бы ценою жизни.

– Мозоль... вы говорите, мозоль... – упавшим голосом спросил он Агафонику. – Жесткий?

– Мозоль, родимый, мозоль... и жесткий-прежесткий... – с лукавой улыбкой отвечала старуха.

Он не заметил этой улыбки, с минуту постоял в задумчивости, затем подошел к одному из аптечных шкафов, вынул закупоренный и запечатанный пузырек с какой-то жидкостью; затем из ящика достал кисточку и, завернув все это в бумажку, подал ожидавшей Агафонихе.

– Вот, передайте своей барыне и скажите, чтобы она на ночь кисточкой осторожно смазала то место, где мозоль... С третьего, четвертого раза он размякнет и вывалится...

Старуха покачала головой, но не взяла сверток.

– Нет, ты уж сам, голубчик, отлучись на часочек, мальчонка у тебя подручный, чай, есть, он за тебя твое дело справит...

– То есть как сам, что сам?

– А помажь мозоль-то Настасье Федоровне, а то она, да и мы, бабы, что смыслим... Такой и от нее приказ был, чтобы ты сам пожаловал...

– Да зачем же, это так просто... – пробовал было возражать Егор Егорович.

– Такова уж ее барская воля, – наставительно заметила старуха, – не нам с тобой ей, молодчик, перечить, когда сам сиятельный граф насупротив ее ничего не делает.

– Когда же идти-то мне? – поняв бесповоротность решения Минкиной, спросил Воскресенский.

– Да сейчас и пойдем, я тебя проведу к ней, очень уж она этой самою мозолью мучается...

Егор Егорович позвал ученика, приказал ему побыть в аптеке, пока он вернется, надел тулупчик и шапку и вышел вслед за Агафонихой.

Сердце его усиленно билось. Он находился между страхом и надеждою, но, увы, не страхом ответственности перед графом Аракчеевым, его господином, от мановения руки которого зависела не только его служба, но, пожалуй, и самая жизнь, и не надежда, что мимо его пройдет чаша опасного расположения или просто каприза сластолюбивой графской фаворитки, а напротив, между страхом, что она призывает его именно только по поводу мучающей ее мозоли, и надеждою, что его молодецкая внешность – ему не раз доводилось слышать об этом из уст женщин – доставит ему хотя мгновение неземного наслаждения. Благоразумие при мелькнувшем предположении о возможности обладания красавицей исчезло вместе с потухшим лучом надежды на это обладание. Опасность, остановившая было его, теперь делала еще заманчивее цель, придавала ее осуществлению особую, неиспытанную еще им сладость.

Все эти ощущения смутно переживались его разгоряченным мозгом в то время, когда он твердою походкой шел по направлению к графскому дому за своей путеводительницею – старой Агафонихой.

Вот они вошли уже во двор, направились к флигелю Минкиной и вступили на крыльцо.

«Будь, что будет!» – мысленно сказал себе Егор Егорович, входя в отворенную старухой дверь.

VII

Во флигеле Минкиной

Агафониха, указав Воскресенскому куда повесить ему в передней тулупик и шапку, повела его через две комнаты в спальню Настасьи Федоровны.

Богатая обстановка комнат графской любимицы, бросившаяся в глаза проходившему Егору Егоровичу, мгновенно отрезвила его.

«Несомненно, что она призывает меня только для медицинской помощи... Разве я, безумец, не понимаю то расстояние, которое разделяет ничтожного помощника аптекаря от фаворитки первого вельможи в государстве, фаворитки властной, всесильной, держащей в своих руках не только подчиненных грозного графа, но и самого его, перед которым трепещет вся Россия» – неслось в голове Воскресенского.

«Положим, говорят, она снисходит и до более низших лиц, но, быть может, во-первых, это только досужая сплетня, и, во-вторых, все-таки он стоит выше дворового молодца, с которым подвластная распорядительница грузинской вотчины могла совершенно не церемониться и мимолетная связь с ним не оставляла и следа, а лишь взысканный милостью домоправительницы за неосторожное слово мог рисковать попасть под красную шапку или даже в Сибирь...»

Егор Егорович вспомнил, что ему рассказывали такие случаи.

Значит, он менее всякого крестьянского парня мог иметь шансов на даже мимолетное обладание этой могучей красавицей... Она побоится огласки с его стороны, побоится, как бы ее преступная шалость не дошла до сведения ее ревнивого повелителя!..

«Тем лучше!» – решил он в своем уме, хотя в душе пожалел, что находится в таком исключительном положении...

– Вот, матушка, Настасья Федоровна, привела к тебе молодца вместе со снадобьем... – пробудил его от этих дум голос Агафонихи.

Он поднял глаза и положительно ошеломился. Он находился в спальне Минкиной.

Это была довольно большая длинная комната с одним окном, завешанным тяжелой шерстяной пунцовой драпировкой, пол был устлан мягким ковром, и кроме затейливого туалета и другой мебели в глубине комнаты стояла роскошная двухспальная кровать, на подушках которой лежала Настасья Федоровна в богатом персидском капоте. Восковая свеча, стоявшая на маленьком высоком шкафчике у изголовья кровати, освещала лицо аракчеевской экономки, и это лицо, с хитрыми прекрасными глазами, казалось вылитым из светлой бронзы, и если бы не яркий румянец на смуглых щеках, да не равномерно колыхавшаяся высокая грудь лежавшей, ее можно было принять за прекрасно исполненную статую. Туго заплетенная длинная и толстая иссиня-черная коса змеей почти до полу ниспадала по белоснежной подушке.

Минкина не шевельнулась, продолжая смотреть на вошедших все тем же смеющимся взглядом своих блестящих глаз.

Агафониха, отрапортовав о приходе Егора Егоровича, быстро и незаметно выскользнула из комнаты и плотно прикрыла за собою дверь.

Он остался с глазу на глаз с графской фавориткой, смущенный, растерянный, не решаясь ни подойти ближе, ни шагнуть назад, с глупо растопыренными руками, с неотводно на лежавшую красавицу смотревшими глазами.

Несколько минут длилось томительно молчание.

Настасья Федоровна, казалось, наслаждалась смущением молодого человека, хорошо понимая причины этого смущения и, кроме того, видимо, употребляя это время на внима-

тельное и подробное рассмотрение стоявшего перед ней «писаного красавца», как рекомендовала его ей Агафониha.

Результат этого осмотра оказался, по-видимому, благоприятным для осматриваемого, так как Минкина улыбнулась какою-то довольною, плотоядною улыбкою.

Воскресенский, увидав эту улыбку и приняв ее за насмешку над своей растерянностью, с невероятным трудом заставил себя сделать шаг к постели и дрожащим голосом произнес:

– Вы изволили меня звать?

– Да, звала, – небрежно кинула ему, улыбнувшись, Минкина.

– Я слышал от посланной, что вас мучает мозоль...

Настасья Федоровна звонко рассмеялась, снова до необычайности смутив этим Егора Егоровича, уже вынувшего из кармана сверток с пузырьком и кисточкой.

– Да, да, мозоль, – снова заговорила она, еле удерживаясь от вторичного взрыва веселого хохота, и протянула из-под капота левую ногу, обутую в ярко-пунцовую туфлю и тонкий шелковый ажурный чулок.

Вся кровь бросилась в голову Воскресенского, он дрожащими руками стал развешивать и раскупоривать пузырек и затем, поставив его на шкафчик, пробовать об ноготь кисточку.

Настасья Федоровна насмешливо следила за всеми его движениями, играя высунутой из-под капота миниатюрной ножкой, с которой от движения уже свалилась туфля.

Она видела, что он умышленно мешкал.

– Скоро? – спросила она, снова пристально посмотрев на него своими смеющимися глазами.

Он встрепенулся и решительно приблизился к ней, осторожно взяв ее ногу, но снова остановился, так как руки его ходили, что называется, ходуном.

– Чулок надо снять! – уже повелительно и даже с некоторым раздражением произнесла Настасья Федоровна.

Воскресенский дрожащими руками стал стягивать чулок, не расстегнув подвязки. Только после нескольких усилий он заметил свою оплошность, расстегнул пунцовую, атласную подвязку и осторожно, одной рукой поддерживая ногу, снял чулок. Словно выточенная из мрамора нога покоилась на его руке, он с восторгом любовался ее восхитительною формою, тонкие пальцы с розовыми ногтями, казалось, не только не знали, но и не могли знать никаких мозолей. Развившаяся на свободе, без стеснительной и часто уродующей нежную ногу обуви, взлелеянная в течение нескольких лет в неге и холе нога мещанки Минкиной, изящная по природе, была действительно верхом совершенства.

Егор Егорович начал осторожно перебирать пальцы ног.

– Щекотно! – вдруг игриво вырвала из его рук Настасья Федоровна.

– Я не вижу мозолей! – произнес он почти задышающимся голосом.

– На другой! – лаконично отвечала она и протянула к нему правую ногу.

Он посмотрел на Настасью Федоровну умоляющим взглядом.

Она отвечала ему взглядом искрящихся, почти злобно смеющихся глаз и только движением ноги сбросила туфлю.

Он расстегнул подвязку и стал стаскивать чулок, но вдруг зашатался и бессильно оперся правой рукой о край кровати.

– Посадите... не могу! – чуть слышно прошептал он.

– И не надо, – с веселым смехом воскликнула Минкина и, быстро наклонившись к стоявшей на шкафчике свече, потушила ее.

VIII

Таинственный незнакомец

Прошло несколько месяцев. Отчасти предвиденная Егором Егоровичем, отчасти для него неожиданная связь с домоправительницей графа Аракчеева продолжалась. Настасья Федоровна, казалось, привязалась к молодому аптекарскому помощнику всей своей страстной, огневой, чисто животной натурой, и он стал понимать, к своему ужасу, что это был далеко не мимолетный каприз властной и характерной красавицы.

Он стал понимать это именно к своему ужасу, так как в его отношениях к ставшей так неожиданно быстро близкой ему женщине, чуть ли не с момента ухода его из флигеля Минкиной после часов первого блаженства, произошла резкая перемена. Когда первая страсть была удовлетворена, с ним случилось то, что случается с человеком, объевшимся сладостями, он почувствовал нестерпимую горечь во рту. Это неприятное ощущение усугублялось еще восставшими в его воображении тревожными картинами будущего. «Приедет граф и узнает», – вот мысль, тяжелым свинцом засевшая в его мозгу, после первого же свидания с Минкиной. Единственным желанием избранника Настасьи Федоровны было, чтобы это первое свидание было последним, но увы, на другой же день под вечер в аптеке снова предстала перед ним Агафониha. За этим вторым свиданием последовало третье и так далее. Они устраивались то во флигеле Настасьи Федоровны, а чаще в избе Агафониhi, стоявшей у околицы, вдали от других строений.

Понятно, что не только для всей двора, но даже для грузинских крестьян связь любимого аптекаря с ненавистной экономкой не была тайною, и хотя их молчание было обеспечено с одной стороны в силу привязанности к Егору Егоровичу, а с другой – в силу почти панического страха перед Минкиной, но первому от этого было не легче. Ведь открыл же графу пьяный кучер тайну происхождения Миши – ему рассказала эту историю сама Настасья Федоровна – значит, и относительно открытия его отношений с ней существует страшный риск.

Первый приезд графа, проведенного в Грузии несколько дней и даже очень ласково принявшего нового служащего, о котором он успел собрать справки, прошел благополучно, но Егор Егорович от этого далеко не успокоился, а, напротив, доброе отношение к нему Алексея Андреевича подняло в еще не совсем испорченной душе юноши целую бурю угрызений совести. В часы свиданий с Минкиной он стал испытывать не наслаждения любви, которой и не было к ней в его сердце, не даже забвение страсти, а мучения страха перед приближающейся грозой, когда воздух становится так сперт, что нечем дышать, и когда в природе наступает та роковая тишина, предвестница готового разразиться громового удара.

«Да грянь же ты, неизбежный гром!» – вот единственное желание людей в таком состоянии.

Это же чувство испытывал и Егор Егорович.

Но гром не гремел, а атмосфера кругом все сгущалась. Последнему способствовало одно происшествие, которое при других обстоятельствах могло бы считаться несомненным поворотом колеса фортуны в сторону Егора Егоровича, но для него явилось, увы, прямо несчастьем. Так относительно в жизни людей понятия о счастье и несчастье.

Во второй или третий приезд графа в его вотчину, позднюю ночью Воскресенский был разбужен пришедшей в аптеку грузинской крестьянкой, просившей лекарства для своего внезапно заболевшего мужа, у которого, по ее словам, «подвело животики». Егор Егорович, внимательно расспросив бабу о симптомах болезни, стал готовить лекарство, когда дверь аптеки снова отворилась и в нее вошел какой-то, по-видимому, прохожий, в длинном тулупе, в глубоко надвинутой на голове шапке и темно-синих очках, скрывавших глаза.

Незнакомец выждал, пока аптекарь занимался с пришедшей ранее посетительницей, и когда та ушла, завел с Воскресенским совершенно праздный разговор и стал поносить как грузинские порядки, так и его владельца.

Егор Егорович горячо заступился за графа и высказал много истин о недостатках его служащих, но так как прохожий, видимо, не убеждался его доводами и не унимался, вытолкнул его бесцеремонно за дверь.

– Не хай хозяина в его хоромах! – проговорил он, изрядно накладывая ему в шею.

– Провались ты, чертов слуга, со своим барином в тартарары... – огрызнулся неизвестный.

Взволнованный происшедшим, Воскресенский долго не мог заснуть, да и следующие дни появление подозрительного прохожего не выходило из его головы. Граф, между тем, снова уехал в Петербург и Минкина постаралась устроить свидание со своим новым фаворитом.

Во время этого-то свидания, Егор Егорович рассказал ей о своем ночном приключении.

– Да это был сам граф! – воскликнула Настасья Федоровна.

– Как граф? – упавшим голосом, побледнев, как полотно, проговорил Воскресенский.

– Да так, у него в привычку каждую ночь переряживаться да по селу шастать, за порядком наблюдать, да о себе самом с крестьянами беседовать, раз и ко мне припер, в таком же, как ты рассказываешь, наряде да в очках, только я хитра, сразу его признала и шапку и парик стащила... Заказал он мне в те поры никому о том не заикаться, да тебя, касатик, я так люблю, что у меня для тебя, что на сердце, то и на языке, да и с тобой мы все равно, что один человек...

– Вот так штука! – с напускною развязностью заметил Воскресенский, хотя на сердце у него, что называется, скребли кошки. – А я его порядком-таки попотчивал...

– И ништо... не шатайся, не полуношничай... не графское это дело!.. – хохотала Минкина, привлекая к себе совершенно расстроенного Егора Егоровича.

Это свидание показалось ему еще продолжительнее, чем другие. Он почти с радостью вырвался из объятий этой почти ненавистой ему красавицы.

– Что-то будет? Что-то будет? – задавал он себе почти ежеминутно вопрос.

Досужие рассказы о мстительности и жестокости Аракчеева, слышанные им в Петербурге, против его воли восставали в памяти, жгли мозг, холодили сердце.

IX Приказ

Прошла томительная неделя. В главной вотчинной конторе получен был собственно-ручной графский приказ об увольнении от должности помощника управляющего и о назначении на его место помощника аптекаря Егора Егоровича Воскресенского, которому быть, в случае надобности, и секретарем графа по вотчинным делам.

Приказ этот для лиц, стоявших во главе вотчинного управления, явился совершенною неожиданностью. Только Воскресенский и Минкина поняли, что он есть результат приключения в аптеке. Настасья Федоровна очень обрадовалась, так как помощник управляющего имел помещение в графском доме, куда она имела свободный вход по званию домоправительницы, а следовательно, свидания с ним более частые, нежели теперь, являлись вполне обеспеченными и сопряженными с меньшим риском, да и она может зорче следить за своим любовником – она приметилась к ней холодность, и последняя не только все более и более разжигала ее страсть, но и заронила в ее сердце муки ревности. Егора Егоровича, напротив, этот приказ ударил, как бы обухом по лбу – милость к нему графа, обманываемого им в его собственном доме, казалась ему тяжелей его гнева, страшнее всякого наказания, которое могло быть придумано Алексеем Андреевичем, если бы он узнал истину. Эта милость усугубляла его грех перед ним, и этот грех давил его душу.

По приезде в Грузино граф вызвал Воскресенского, обласкал его и выразил надежду, что он оправдает оказанное им доверие.

Бледный, трепещущий Егор Егорович пробормотал шаблонную благодарность. Алексей Андреевич приписал смущение молодого человека неожиданности повышения и милостиво отпустил его к исправлению его новых обязанностей. Ни одного намека не проронил он о ночной сцене в аптеке, не подозревая, конечно, что Воскресенский был посвящен в тайну устраиваемых им маскарадов.

Первое время Егор Егорович подумал, не ошибается ли Минкина, что подозрительный прохожий и граф – одно и то же лицо, но смена помощника управляющего, о «злоупотреблениях» которого в защиту графа говорил неизвестному Воскресенский, подтверждала это предположение, да и костюм, описанный Настасьей Федоровной, в котором она узнала Алексея Андреевича, был именно костюмом прохожего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.